

Владимир
АЛЕЙНИКОВ

Реликтовые истории



Современная книга. Поэзия, проза, публицистика

Владимир Алейников
Реликтовые истории

«Алетейя»

2015

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Алейников В. Д.

Реликтовые истории / В. Д. Алейников — «Алетейя»,
2015 — (Современная книга. Поэзия, проза, публицистика)

Книга «Реликтовые истории» – часть серии книг известного поэта и прозаика Владимира Алейникова о былой эпохе, о поэтах, прозаиках, художниках отечественного андеграунда, о некоторых колоритных людях, о периоде СМОГа. Динамичная, с характерной для автора плотностью текста, с выразительной ритмикой, проза Алейникова давно уже стала неотъемлемой частью его многообразного творчества. Книга будет интересна современным читателям.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Алейников В. Д., 2015
© Алетейя, 2015

Содержание

I	6
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Владимир Алейников

Реликтовые истории

© В. Д. Алейников, 2015

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2015

I

...Что со мной происходит? Я вздрогнул, вдали услышав зов негромкий. Откуда он снова ко мне долетает? Всё оттуда же, брат, – из времён, где он всё-таки прав и в упрямстве своём: всё сполна он ещё наверх стает!..

В сентябре, в золотом сентябре шестьдесят четвёртого года, на заре нашей странной, безумной, навсегда отшумевшей эпохи, в ту блаженную, ясную, чуткую пору, когда на холмистых московских просторах ещё вдалась бывало и магически-властного, неизбежно высокого света, и плескавшего исподволь с юга отрешённо-смурною волною, неизменно родного тепла, в том особенно близком душе, напряжённо-свободном, заждавшемся отклика, что ли, пограничном, ранимом состоянии природы, в тот загадочный час предвечерья, в те мгновенья, когда по садам и по скверам всюю полыхала листва, но уже подбирались к домам и деревьям сквозившие понизу тени – и готовился молча вонзить в сердцевину сплошного звучанья, в глубину созиданья, дыханья и чаянья, в ломкую ткань бытия, припасённую впрок и покрытую ржавью иглу разрушенья, смятенья и страха ледяной холодок неминуемой ночи, беды и зимы...

На такой вот щемящей, звенящей, как в юности, ноте и начать? Звук искомый приходит извне, появляется сам, потому что его-то и ждал я, звук единственно верный, желанный, а стало быть – мой, возникает из памяти, где немота с темнотою, как ни тщились прижиться, приюта себе не нашли, заполняет пространство, проходит сквозь время глухое, неумолчный, рискованный, томящий, зовущий, слепой, прозревает, встаёт на распутье, идёт по наитью, доверяясь чутью, прямо в речь мою – так, мол, и быть, – с ним приходит и строй – и растёт, и ведёт за собою – за судьбой, под звездой, над водой, по земле моей – в мир, где, легендою ставшие, все мы равны перед Богом.

Или, может быть, всё-таки так? —
Время СМОГа.
Трагедия. —
Что же!..

Звук зовёт изначальный – вот я закрываю глаза, словно вновь почему-то, как прежде, читаю стихи, чтоб глазами духовными времени суть различить, – и особенным, внутренним зрением вижу былое.

Вспоминаю две краткие заповеди, в современном духе, конечно, с молодёжным задором и юмором, лаконизмом своим изумившие не случайно меня, старика, вспоминаю вновь эти правила, исходящие от моих дочерей Марии и Ольги.

Первая такова:

– Папа, лицо попроще! —

когда меня изредка кто-нибудь где-нибудь фотографирует.

И вторая, не менее важная:

– Папа, не загружай! —

когда я, с людьми знакомыми нынче, в годы свободы, говорящий редко и мало, а то и просто молчащий осенью месяцами в своём коктебельском отшельничестве, вдруг, словно выйдя из транса, дорываюсь до собеседника и обрушиваю на него стремительную лавину информации разнообразной, мыслей, соображений, всего, что требует выхода, что накопилось внутри.

Ну прямо как две колеи или, тоже возможно, два рельса, по которым идёт моё скифское повествование!..

Снизить пафос, милые доченьки?

Попробую, право.

Но всё-таки...

Оркестровый тревожный прибор, со скрипичным, высоким захлестом, с виолончельным, низким, вибрирующим раскатом, с выплеском труб, звенящим золотом и серебром, и с общим протяжным рокотом, звучит у меня в ушах.

Слух заполнен им. Что же делать!..

И тогда пробуждается зрение.

А потом оживает – память.

А за ней – и давнишний свет.

* * *

В сентябре шестьдесят четвертого года, Драконьего, щедрого на события разномастные, непрерывно, сплошной чередой, догоняющие, сменяющие, настигающие друг друга, чтобы, сжавшись в общий клубок, в некий узел, морской ли, мирской ли, неизвестно, в энергетический, раскалённый, сияющий шар, вновь разжаться, с пружинистой силою, завитком спирали незримой, вмиг раскрыться цветастым веером удивительных совпадений и негаданных происшествий, сплошь и рядом идущих об руку с постигаемой не по книгам, но вплотную, слишком уж близко, чтоб не видеть её воочию, чтоб надолго, нет, навсегда не запомнить её, таинственной и простой, как и всё хорошее и достойное в мире этом, без придумок ненужных, без баек непотребных, со слов чужих, лишь своей, а не чьей-нибудь, кровной, личной сызмала яви, ехал я на встречу с поэтом, широко известным в столичной многолюдной среде богемной, из отчаянных удалцов и героев, из общих любимцев, из птенцов, едва оперившихся, но уже подающих голос, из отъявленных сорванцов, из талантов, для всех очевидных, из певцов, молодых да ранних, так поющих, что их не заметить невозможно, и впрямь хороши, да и редкость это большая, уж тем более в наше время, не принять их нельзя, с приязнью, и, с восторгом, не полюбить, ведь богема на то и богема, чтоб уметь себя ублажать, чтоб уметь выделять своих, приглянувшихся ей не случайно и вписавшихся с ходу в неё, бравых, в доску своих парней, с перспективой необычайной на потом, – с Леонидом Губановым.

Восемнадцатилетний, всего-то, подчеркну это снова, сознательно, чтобы видеть давнишний свой возраст с башни многих прожитых лет, (восемнадцатилетий, уже, Боже мой, как летит моё время, вырывалось невольно встарь), – я давно ощущал себя взрослым.

Поколение послевоенное моё, всё разом, без лишней рефлексии, без промежуточного топтания, так, для порядка, на месте, чтобы подумать о чём-то сугубо практическом, полезном, трезвом и здравом, с точки зрения наших родителей или школьных учителей, как-то слишком уж быстро, без всяких колебаний, сомнений, прикидок, размышлений невразумительных, стремительно повзрослело, и уступать завоёванные, с бою, с ходу, с налёту, позиции, нам и в голову не приходило.

Мы старались избавиться всячески, любым из возможных способов, от опеки ненужной над нами, от назойливого надзора, от всего, что явно пахло заурядностью и обыденщиной.

Наставления и советы воспринимались в полной готовности отразить их, в сражение, в атаке, в штыки, посмелее, и лишь отчасти усваивались, осмысливались нами, как нечто не очень-то приятное, исходящее из той бытовой обязательности, той приглаженной и прилизанной, ненавистной нам положительности, той советской, всем понемногу, и достаточно, уравниловки, под присмотром и под контролем наблюдающих за порядком повсеместным в державе нашей неусыпно и неустанно, днём и ночью, почти незримых, нелюбимых, необходимых

и всеильных каких-то, вроде бы, говорили с опаской, органов, или, может, властей кремлёвских, потому что не знали толком, где там органы, где там власти, что за органы, что за власти, что за птицы и что за страсти, кто их, в общем-то, разберёт, если знают всё наперёд, в светлом будущем обещают оказаться в кратчайший срок, но читают все между строк, да ещё голоса вещают зарубежные обо всём, что в стране у нас происходит, и тоска не людей находит, и с надеждой сплошной облом, говорят, не верь, не проси, что за мрак такой на Руси, что за ужас во всё Союзе, поверять остаётся музе настроенья свои, уравниловки мы чурались, нивелировки, стрижки всех под одну гребёнку, строевой, командной послушности, шаг назад, шаг вперёд, на месте, вправо, влево, стой, запевай, поднимайся, в ружьё, на службу, в пятилетку, на стройку, к станкам, в шахты, в лифты, в тайгу, к облакам, глубже, выше, смелей, и так далее, от нелепой и неизбежной жизни в обществе долгой лжи, с малых лет до седых волос, и мещанской благопристойности, от которых мы, как умели, отбояривались, отмахивались, да и просто бежали – прочь из чуждой духу желанного, блаженного свободомыслия, ненавистной, обрыдлой нам канцелярской, казённой системы.

Конечно, был я тогда очень молод, слишком уж молод.

Но я, сколько помню себя, всегда, по чутью, тянулся к тем, кто были старше меня и могли открыть мне однажды что-то важное для души, что-то новое, прежде неизвестное.

Добрых три года я мыслил самостоятельно, сам принимал решения и совершал поступки, многие из которых и теперь, посреди междувременья, представляются мне достойными, а порою даже значительными.

Разумеется, было немало промахов и ошибок, огорчений, разуверений, нелепостей всяких досадных, но возраст мой был таков, что, при отсутствии полном учителей и наставников, я вынужден был искать и сам находить всегда то, к чему влекло меня сизмала романтически бурное, грозное, иногда не на шутку опасное, но зато упоительно вольное, без оков, течение жизни, как мне думается, действительно удивительной и прекрасной.

Было мне от роду братцы, не просто ещё восемнадцать, но уже восемнадцать лет и семь дополнительных месяцев.

Тогда и эти, наперечёт, месяцы, очень любили счёт и тоже имели значение.

По причине быстрого, слишком или в меру, кто как считал, на авось полагааясь, взросления.

Тогда я уже добился поставленной загодя цели и поступил учиться на престижное, элитарное, ну, слегка, по сравнению с прочими, уж во всяком случае стоящее и достойное отделение истории и теории искусств, это было главным, что меня привело туда, исторического факультета серьёзного заведения учебного, МГУ.

То есть стал, по-студенчески, вольно, по-богемному, безалаберно, по-хорошему, по-человечески, замечательно, жить в Москве.

Парижа, как я всегда в книгах своих подчёркиваю, у нас, к сожалению, не было, а вот Москва, распрекрасная столица странноприимная, по счастью, у нас была.

И она звала, отовсюду, из различных мест многовёрстной, многозвёздной нашей страны, и тянула к себе столь властно, что противиться ей, столице, было всем нам уже невозможно, и она собирала вместе нас, вчерашних провинциалов, постепенно и неуклонно становящихся москвичами, привыкающих здесь обитать и работать, по-своему каждый.

Отовсюду в Москву съезжались люди творческие, азартные, для которых не подходили никакие мерки стандартные, те, которым хотелось общения настоящего и внимания, те, которые были отважны и к невзгодам готовы заранее.

И Москва принимала – всех.

И спасала – всех, без разбора.

Был возможен в грядущем – успех.

Он придёт ли? Пожалуй, не скоро.
А пока что – пиши, поэт!
А пока что – рисуй, художник!
Вот он, ясный вечерний свет.
Вот он, тихий осенний дождик.
Всё – для вас. Для таких, как вы.
Всё – для творчества. Для открытий.
Для незримых духовных нитей.
В этом – самая суть Москвы.

Я жил, как уже рассказывал выше, на Автозаводской улице, в старом, крепком, невысоком, с толстыми стенами и большими окнами, доме довоенной добротной постройки, отдалённо напоминающем упрощённый конструктивизм.

В обжитой коммунальной квартире у меня была, пусть и временная, ненадолго, да всё же своя, так хотелось мне думать, комната. Принадлежала она симпатичной московской теще генерала с необозримыми перспективами и возможностями, наперёд, на потом, Ивана Александровича Герасимова, начальника криворожского гарнизона, фронтовика, человека закваски крепкой, волевого, честолюбивого и способного на решительные, непредвиденные поступки, что сказало несколько позже, когда он помог мне в беде, и отца моего приветливого одноклассника Саши Герасимова.

Был в квартире и телефон, правда, общий, но всё-таки был, и его наличие радовало, а случалось, и выручало. Была, разумеется, ванная, просторная общая кухня.

Но главное в этом роскошестве – была у меня своя комната.

Почему-то приятно теперь мне о давнишнем пристанище этом, с добрым чувством, порой вспоминать.

Я учился в университете – и гордился этим. Студент!

Я уже ощущал себя москвичом – и это вот было, зачем такое скрывать, приятное ощущение.

И вот сегодня, сентябрьской порою, в час предвечерья, мне, москвичу новоявленному, надо было ехать на встречу с незнакомым, пока что, хорошим, наверное, человеком.

Я набросил свой синий плащ, байроновский, романтический, как хотелось мне искренне верить, или, проще, воображать, на плечо закинул ремень потёртой лёгонькой сумки, закрыл за собой поплотнее скрипучую дверь квартиры, быстро сбежал по ступенькам пропахшей всеми возможными, коммунальными, стойкими, запахами, щербатой лестнице вниз и вышел из темноватого подъезда в просторный двор, заросший большими, старыми, устойчивыми деревьями.

Прошёл мимо нашей булочной, мимо стеклянной витрины гастронома, вдоль узкого сквера, к перекрёстку, затем перешёл дорогу и, торопясь, зашёл наконец в метро.

Там, бросив пятак свой звякнувший в щёлку пропускника, я спустился на эскалаторе к платформе, вмиг заскочил в вагон как раз подошедшего, сверкнувшего стёклами поезда и поехал в сторону центра.

Встречи тогда назначались нашей богемной братией в четырёх привычных местах: у памятника, с фонарями и цепями чугунными, Пушкину, у памятника Маяковскому, на углу в столице известного всем и каждому "Националя" и в уютном университетском дворе, со скамейками вдоль старой высокой ограды, с деревьями, со студентами оживлёнными, на Моховой, именуемом «психодромом».

Недавно сказал мне поэт, знаток московской богемной жизни, Саша Юдахин:
– С тобой, представь себе, хочет познакомиться Лёня Губанов.

Я, хоть и слышал уже, конечно, о нём, нарочно, удивляясь, вроде, такой информации, поднял брови:

– Кто это? Не припомню.

Юдахин сознательно выдержал небольшую, но, по его мнению, по-актёрски, эффектную, видимо, паузу и только тогда уж сказал:

– Самый талантливый, так считают разные люди, поэт молодой в Москве.

– Ну, это мы ещё посмотрим, кто же в Москве талантливее! – мгновенно отреагировал я.

– Нет, я ведь не утверждаю, говоря о Лёне, что он талантливее тебя, – поправился тут же Юдахин. – Сам ты очень талантливый. Но ты-то в Москве недавно совсем. А Лёня москвич. Его уже знают здесь.

– И меня уже знают здесь, – сказал, сощурившись, я.

– Вы оба самые-самые талантливые в Москве, – обобщил, улыбаясь, Юдахин. – Я уже рассказывал Лёне о тебе. И другие ребята ему о тебе говорили. Он хочет с тобой повидаться. Давай я вас познакомлю.

– Хорошо, – сказал я, – знакомь.

– Я тебе скоро, Володя, позвоню, – подытожил Саша. – Как только договорюсь с Лёней о вашей встрече, так сразу и позвоню. Жди моего звонка.

И вот, через день, буквально, Юдахин мне позвонил:

– Договорился. Где встречаемся? Прямо сегодня.

– Лучше всего – у памятника Пушкину. Так привычнее, – без раздумий ответил я.

– Когда? Говори конкретно.

– Вечером, в семь.

– Идёт.

Пришлось, ничего не поделаешь, мне собраться и ехать.

Кто такой Саша Юдахин – объяснять никому не надо. Поэт. Человек общительный. Дружелюбный ко всем, улыбчивый. Рослый. Спортивный. Свой парень, во многих кругах и компаниях. Энергии в нём предостаточно. Все его знают – и он всех поголовно знает. Он в облаках не витает. Он трезв – и восторжен: публично. Всё складывается отлично. Публикации. Выступления. Путешествия. Впечатления. На коне он, это заметно. Потому и смотрит победно. Между тем, он раним, по-своему. Реагирует на обиды. Но – защитное что-то усвоено. И – привык не показывать виду. И когда-то, в года молодые, то же самое было. Всегда. Всё с него, словно с гуся вода? Вопрошенья, тире, запятые, восклицанья. Судьба – впереди? Биография – ежеминутно? Что потом? Предсказать это трудно. Что за боль возникает в груди? Стихи его помню, задорные, из давних шестидесятых: «Я буду, мы будем выигрывать секунды, секунды, секунды!» – в молодёжном гвардейском журнале, – в тему, блин, как теперь говорят. А вот это нигде в печати почему-то я не встречал: «У реки берега – будто два утюга». Наверное, самиздатовское.

В центре столицы я вышел из метро и пешком поднялся вверх по улице Горького к Пушкинской, к месту встречи грядущей, площади.

Пришёл я туда ровно в семь часов, ни минутой позже, как мы и договаривались.

Возле памятника, опекушинской вдохновенной работы, Пушкину – меня, пришедшего вовремя, уже, с нетерпением, ждали.

Словно из-под склонённой в задумчивости головы Александра Сергеевича, из осеннего воздуха вышли и двинулись прямо ко мне две фигуры, одна высокая, и это был Саша Юдахин, а другая значительно меньше ростом, так, небольшая совсем.

– Вот вы, ребята, и встретились! – торжественно произнёс Юдахин. Потом продолжил. – Познакомьтесь. Лёня Губанов! – представил он, с видом солидного, в политике поднаторевшего, со стажем большим, дипломата, этого невысокого, хмурого паренька. – Володя Алейников! – с пафосом, достойным ораторов греческих, представил меня он ему.

Поздоровались мы с Губановым.

Руки друг другу пожали.

Стоим себе – с Пушкиным рядом.

Смотрим один на другого.

И, почему-то, молчим.

– Ну, вот вы, ребята, друг с другом наконец-то и познакомились. Надеюсь, что скоро подружитесь. А мне пора уходить, – сказал, что-то вдруг, негаданно, сообразив, Юдахин. – Дела у меня. Увидимся!

И он, кивнув на прощанье нам обоим, исчез в толпе.

В те времена москвичи и приезжие вечерами любили гулять по столице. В центре всегда былолюдно.

И раствориться надолго меж людей было вовсе не трудно.

Мы с Губановым, возле Пушкина, под склонённой к нам головою поэта, в шелесте листьев и отсветах загоравшихся всё гуще окрестных огней, стояли друг против друга и продолжали молчать.

Это напоминало, наверное, первую встречу доселе ещё не видавших друг друга, воочию, рядом, двух молодых, да ранних, конкурирующих меж собою, на войне и в мирное время, всё едино для них, полководцев.

Этакий бука-подросток, с чёлочкой, коренастенький, сероглазый, в распахнутой курточке, в мятых брюках, в нечищенных туфлях, придиричливо, исподлобья, с прищуром, смотрел на меня.

На него я смотрел спокойно, без нервов. Подумаешь, фрукт! Ничего, погодим, подождём, что последует за молчанием.

Что он там башкой своей, с чёлочкой кривоватой, небось, надумал?

Явно ведь собирается что-нибудь взять да и выкинуть.

Видно по физиономии – вся уже напряглась.

Ладно, переживём. И не таких видали.

Вдруг Лёня, скривив по-детски влажные, пухлые губы в язвительной, скользкой улыбочке, вновь, будто мы с ним до этого вовсе и не здоровались, протянул мне руку и тоном официальным, холодным, с осознанием собственной значимости, отчётливо, жёстко изрёк:

– Леонид Георгиевич Губанов.

– Владимир Дмитриевич Алейников, – мгновенно парировал я и крепко пожал его руку.

Лёня с вызовом откровенным посмотрел в упор на меня – и опять протянул мне руку.

И сказал, меняя подход, нараспев:

– Леонид Губанов.

– Владимир Алейников, – твёрдо, без эмоций, ответил я.

Лёня этак хитро сощурился на меня – и ещё разок протянул мне зачем-то руку. И сказал с хрипотцой:

– Леонид.

– Владимир, – сказал я спокойно, понимая, что это игра.

Губанов уже с любопытством посмотрел на меня – и вновь протянул мне руку свою, с длинными, гибкими пальцами, с грязными, как у школьника хулиганистого, запущенными, нестриженными ногтями, сказав дружелюбно:

– Лёня.

– Володя, – сказал я приветливо и взглянул ему прямо в глаза.

Губанов так широко, что шире некуда просто, улыбнулся, преображаясь, хорошея, меняясь к лучшему, и уже панибратским тоном, все приколы отбросив, сказал:

– Старик! Давай будем на «ты»!

– Давай! – согласился я.

– Слушай, а я давно про тебя, между прочим, знаю! – тут же сказал мне Губанов.

– И я про тебя, представь себе, знаю! – сказал ему я.

– Ты ведь в Москву с Украины приехал? – спросил Губанов.

– Из Кривого Рога.

– Откуда?

– Из Кривого Рога. Такой город есть в наших южных степях. Там я вырос.

– Теперь понятно.

– Что понятно?

– Там твоя родина.

– Посмотрите, какой догадливый! Ну, а ты-то москвич?

– Москвич.

– Сразу видно.

– Что тебе видно?

– То, что ты коренной москвич.

– Ты где-нибудь учишься?

– Да. Учусь.

– А где?

– В МГУ.

– А я чихал на учёбу. Я и среднюю школу, всего-то, не закончил! Бросил, и всё.

– Почему?

– Так. Долго рассказывать.

– Ну, как хочешь.

– Потом скажу.

– Сам решай, как тебе поступать.

– Володя! – сказал Губанов. Говор был у него московский, акающий, певучий. Он произносил: Ва-а-лодя. – А я про тебя ещё прошлой осенью слышал.

– Неужели правда? – невольно удивился словам его я.

– Ну да! Ты же здесь, в Москве, жил прошлой осенью, долго?

– Конечно, – сказал я, – жил.

– Ну вот. Мне ребята из разных наших литобъединений говорили, что появился новый талант. Это ты.

– Надо же, как бывает! – сказал я. – А о тебе я только сейчас, в сентябре, от знакомых, впервые услышал.

– Почитаешь стихи? – спросил меня, в лоб, напрямую, Губанов.

– Можно, – сказал я. – Но где?

– Пойдём, хоть куда-нибудь. Куда – всё равно.

– Пойдём.

И мы с Губановым двинулись вместе по улице Горького, в сторону Маяковки.

Оказался Лёня Губанов – парнем, времени зря не теряющим.

После того, когда мы, разговаривая, миновали пустоватую, без поэтов, там читавших стихи свои толпам слушателей, отовсюду, на чей-нибудь голос громкий, собиравшихся неизменно, чтобы в действе участвовать, площадь Маяковского, Лёня вдруг предложил мне, с места в карьер:

– Слушай, давай дружить!

– Давай! – согласился я.

Приближались мы к Белорусской.

Лёня вновь ко мне с предложением:

– Слушай, давай-ка выпьем!

– Давай! – согласился я.

Мы зашли в гастроном какой-то.

Наскребли, еле-еле, денег на одну бутылку портвейна. Бутылку я положил, для спокойствия, в сумку свою.

Двинулись – вместе – дальше.

Шли по вечерней улице куда-то – и разговаривали.

И оба уже понимали, что друг с другом нам – очень даже интересно, так вот, свободно, слово за слово, непринуждённо, как старинным знакомым, с приятной не случайной, с доверием полным к собеседнику, к новому другу, на пути, неизвестно, куда, непонятно, зачем, протянувшимся перед нами, куда-то за грань постижения, говорить.

Мы прошли грохочущий мост за Белорусским вокзалом и находились уже где-то возле улицы Правды.

Не мешало бы нам и выпить, раз вино у нас есть с собой.

Мы свернули вдвоём с тротуара в непомерно просторные, как-то буржуазно, не по-советски, расположенные, без всякой экономии места, на скудной, но и ценной столичной земле, за большими, просто громадными, вроде каменных сундуков, заселёнными впрок, под завязку, москвичами, глухими домами.

Там зашли почему-то в подъезд.

Открыли бутылку портвейна.

Выпили оба, по очереди, вдумчиво, прямо из горлышка.

– Хорошо пошло! – дал оценку действию, с видом бывалым, Губанов.

– Нормально! – сказал я, без всяких славословий. – Вино как вино.

В подъезде было темно и подозрительно тихо.

Мы закурили. Присели рядышком на ступеньки.

– Тяпнем ещё! Давай! – предложил, поразмыслив, Лёня.

– Пожалуй, можно! – прислушиваясь к тишине, согласился я с ним.

Снова глотнули по очереди из горлышка. Закурили.

В бутылке нашей вина, мерзкого, надо заметить, и на вкус, и на цвет, и на запах, содержащего нужные градусы для советских людей, напитка, оставалось уже маловато, в аккурат по третьему разу приложиться, и дело с концом.

(Я заметил сразу, что выпитое в смехотворных дозах вино Лёню явно взвинтило. Нет, изменило. Стал он каким-то непривычно, страдальчески нервным. Беспокойным. Словно вдали, впереди, ждало его нечто, с чем бороться не в силах он был. Покориться же этому – всё же не желал. Примириться с ним – тоже. Притворяться, кривляться – негоже. Этот страх и манил, и губил. Движения – резкие, дёрганные.

Паяц? Юродивый? Мим?

В голосе хриловатом – новые, незнакомые, вибрирующие, зудящие, сверлящие изнутри горло, солоноватые, с привкусом горьким, нотки.

Зрачки разрослись, расширились до пугающей черноты.

Это было заметно вблизи даже здесь, в полутёмном подъезде.

Тогда я ещё не знал, что, сколько бы там вина, пускай хоть совсем немного, не говоря уж о водке, ни выпил бы он, алкоголь действовал на него, как наркотик, и это сказывалось, мгновенно, закономерно, с убийственным постоянством, всякий раз, на его поведении, нередко, почти всегда, приводя к печальным последствиям.

Но вскоре уже, к сожалению, пришлось мне об этом узнать).

Лёня, меж тем, не забыв об основном своём желании, попросил меня:

– Почитай, Володя, стихи!

– А ты? – спросил я его.

– Я потом. Сразу после тебя.

– Хорошо! – согласился я.

Не больно-то подходящим для чтения наших стихов местом был этот тёмный, пустой, незнакомый подъезд, но выбирать было не из чего.

Я начал читать свои стихи тогдашние – новые для меня в ту сентябрьскую пору, недавно совсем написанные, начал читать их Лёне – и незаметно увлёкся.

Губанов слушал меня с таким напряжением страшным во всём его крепком теле и с таким вниманием острым на бледном его лице, с таким нутряным, наружу рвущимся, жгучим огнём в чернеющих непоправимо расширенными зрачками, как-то чутко и слишком пристально распыхнутых на меня, из-под скомканной чёлки, глазах, что почему-то стало мне за него тревожно.

Я прочитал всего-то несколько свежих вещей.

И читал-то негромко, да только случилось, конечно, то, что я предвидел заранее.

На звук моего, негромкого, но кем-то всё же услышанного сквозь массивные стены, голоса – с треском открылась дверь одной из ближайших квартир – и оттуда с негодованием вывалились в подъезд разъярённые жители дома:

– А ну прекратите шум!

Тотчас же, вслед за первой, открылась, под крики граждан чумных, и соседняя дверь:

– Безобразие! Хулиганство! Милицию надо вызвать!

Губанов сорвался с места и, подёргиваясь, заорал на возмущённых граждан:

– Суки! Слушать стихи гениальные не мешайте! А ну, заткнитесь!

– Лёня, тише. Кричать перестань. Пойдём! – я силком еле вытащил его из подъезда во двор.

Вслед нам бурной лавиной неслись оголтелые вопли жильцов.

Кое-как увёл я Губанова в темноту, в глубину двора.

Его буквально трясло.

Никак он не мог успокоиться.

Всё твердил:

– Помешали, гады!

– Тише, Лёня, – сказал я. – Молчи. А то жильцы, чего доброго милицию запросто вызовут. Нам это ни к чему. Всё, успокойся. Быстрее уходим отсюда. Вперёд!

Мы двинулись наугад куда-то, лишь бы уйти подальше да поскорее из опасного места, свернули в ближайшую арку, и выбрались в соседний безлюдный двор.

– Есть вино? – спросил у меня, шевеля бровями, Губанов.

– Есть ещё, – показал я бутылку.

– Выпьем?

– Выпьем!

– Давай?

– Давай.

Мы приложились к бутылке уже по третьему разу.

Больше, при всём желании возможном, пить было нечего.

Губанов, чиркая спичками, ломая их то и дело, жадно, словно дорвавшись наконец-то до сигареты, по-блатному как-то, ухватисто, заковыристо, закурил.

Потом посмотрел мне в глаза и убеждённо сказал:

– Ты гениальный поэт!

– Ладно уж, Лёня, – сказал я. – Ты прямо как император всероссийский, титулы всякие играючи раздаёшь.

– Ты гений! – с пафосом явным сказал Губанов. – Я знаю.

Ну что за категоричность?

Откуда? Зачем? Почему?

Простецкая непривычность?

Нервичность? В толк не возьму.

Вот уж, право, замашки богемные.

(Похожие на дворовые).

Столичные? Или туземные?

Во всяком случае – новые.

Звук, превращённый в знак.

Я сказал:

– Хорошо, если так.

Губанов, поёжившись, выпустил сигаретный белёсый дым из обеих ноздрей, затем, исподлобья, с прищуром стрелецким, с молодецким, зубастым вызовом, с вопросительным знаком, вместе с восклицательным, в серых глазах, взглянул на меня и спросил:

– Можно, я теперь почитаю?

– Читай! – согласился я.

Здесь же, в бездне столичного вечера, во дворе на улице Правды, стал он, заметно волнуясь, читать мне свои стихи.

И, честно, как и когда-то в прошлом, вновь сознаюсь: поначалу эти стихи не очень-то мне понравились.

Длинные. Даже слишком. Неровные. Грубоватые.

То несколько строчек искорками вспыхнут среди сумбура, то снова гул хаотичный, досадный, а то и провал.

Человек-то явно талантливый, даже очень, это уж точно.

И тон у стихов особый.

И лицо есть своё. И голос.

Да, собственно, всё в них – его, не чьё-нибудь там, а губановское.

Но что же меня останавливает?

Что мешает их сразу принять?

Непохожесть их, очевидная, на то, что сам я писал?

Так она и должна ведь быть, эта самая непохожесть. Грубоватость их? Ну и что!

Нет, не знаю. Пока – не знаю.

Но что-то мешает мне принять их безоговорочно.

И ничего, пока что, видать, не поделаешь с этим.

Губанов это заметил.

Чутьё у него, врождённое, импульсивное, обострённое, на всё вообще вокруг, сразу, оптом, было отменным.

Да и реакция тоже, на любое движение извне.

И тем более, разумеется, – на то, как люди, которым доверился, вроде бы, он, раскрылся, пускай и на время, перед ними, воспринимают, в основном, по традиции, с голоса, не с листа ведь, это не к месту и не к спеху, его стихи.

Обо всём этом я узнал не тогда, но уже очень скоро.

Он, покашляв незнамо зачем и смутившись, прервал своё чтение.

– Потом почитаю. Успеется. Ладно? В другой раз.

– Как знаешь! – сказал ему я.

Да, задело, конечно, Губанова то, что я, новый друг его и соратник вполне реальный, точно так же, как сам он, признанный половиной Москвы, недавно, да буквально только что, ну, полчаса каких-то назад, почему-то сразу не выразил ни эмоций своих, ни восторгов, не назвал его с ходу гением, как в богеме всегда называли, не признал его безоговорочно.

Это чувствовалось, я видел, в том, как вёл он себя тогда. Нахохлился весь. Насупился.

Шёл, руки в карманы, вразвалочку.

Головой, кручинясь, покачивал молчаливо. А то и вздыхал.

Потом он сумел собраться.

У нас опять завязался простейший, так, между прочим, по пустякам, на ходу, но всё-таки разговор.

Мы с Губановым, разговаривая, шли сквозь осень, сквозь шелест лиственный, сквозь огни столичные, вместе, шаг за шагом, слово за словом, напрямик, в разверстую даль.

Добрались до метро «Динамо».

– Так мы и до меня дотопаем! – Лёня сощурился, закуривая. Сквозь дымок сигаретный продолжил фразу: – Я-то на Аэропорте живу. Родители дома. Думаю, не помешают. Может, зайдём ко мне? Потолкуем. Чайку попьём. Ты не переживай. К себе добраться успеешь. Дом наш – неподалёку от метро. Каких-нибудь пять, ну, может быть, десять минут неторопливой ходьбы – и ты на метро успеешь до закрытия. Ну, зайдём?

Я взглянул на свои часы – и сразу же спохватился:

– Нет. Мне домой пора. Завтра с утра – занятия.

– Понимаю! – сказал Губанов.

Мы стояли с ним возле метро. Стояли, два парня, один – повыше ростом, другой – пониже. Поэты. Надо же! Молодые совсем. Познакомились. Подружиться в дальнейшем – удастся ли? Поживём – увидим. Посмотрим. Всё возможно. Ведь невозможное, как сказал не случайно Блок в озаренье, тоже возможно. Невозможного в мире нет. Есть – сквозь тьму приходящий свет.

Поздний сентябрьский вечер, с его лиловато-чёрным, плотным куполом неба и жёлтыми, золотистыми, звёздчатыми, узорными, широкими всплесками листьев на всех окрестных деревьях, обволакивал нас прохладой.

Пора было нам расставаться.

Мы с Губановым обменялись телефонами и адресами, тут же, на месте, вписав их в свои записные книжки.

Губанов, похоже, маялся.

Моя – совсем ведь недавно, и, главное, так неожиданно, – реакция на его стихи, которые всем в Москве, кого ни возьми, ни припомни, решительно всем, нравились, нет, какое там, вызывали восторг, восхищение, не давала ему покоя.

– Володя! – сказал он мне. – Давай-ка снова увидимся. Прямо завтра. Пойдём куда-нибудь. Пообщаемся. Что, лады?

– Завтра никак не могу, – сказал я. – Завтра я занят. А вот послезавтра – пожалуйста.
– Так можно приехать к тебе? – спросил, оживая, Губанов.
– Позвони мне вначале, заранее, обязательно. И приезжай. Днём, лучше всего. Послезавтра.

– Договорились! – сказал, пожимая мне руку, Губанов.
Мы зашли в метро. Попрощались.
И разъехались в разные стороны.

Такова наша первая встреча.
Вроде рядом она – и далече.
Камертонная. Чистый звук.
(Время – птицей из наших рук).
В недрах осени – добрый знак.
(Весь, как есть, вокруг – Зодиак).
Изначальная, беспечальная.
(Вряд ли будет потом – прощальная).
Встреча – присказка. Встреча – быль.
(Над столицей – звёздная пыль).
Встреча – с речью. Запев. Пролог.
(Драмой будущей станет – СМОГ).

Вскоре было у встречи нашей продолжение закономерное.

Судьба, видать, постаралась, распорядилась так, чтобы всенепременно, без лишней тяготины, без отговорок непотребных, без промедления несуразного и ненужного, только так и никак иначе, потому что нельзя по-другому поступить никому из нас, хоть и время есть про запас, чтоб к вискам не хлынула кровь, мы с Губановым встретились вновь.

... Через день позвонил Губанов.

– Старик! Володя! Привет! Как дела? Это я, Лёня. Ну что, скажи, приезжать?

Я сказал ему:

– Приезжай!

Через час, не позже, Губанов появился в моей комнате.

Был он тих, отрешённо-задумчив.

Некий свет, непривычный, таинственный, проступал на его мальчишеском, чуть припухшем, бледном лице.

И глаза его – были грустными.

Напрямик, откровенно, сразу же, без ненужных ему предисловий, каким-то вмиг изменившимся, отчасти звонким, торжественным, отчасти не слишком уверенным, акающим по-московски, с хрипотцой дворовой, голосом, но так доверительно, искренне, так просто, и в то же время почти с надрывом, с душой, моляще, Губанов сказал:

– Я стихи написал. Почитаю. Послушай. Тебе посвящается.

Я смотрел на него – и видел в нём, пришедшем сюда, какую-то неизвестную мне, разительную внутреннюю перемену.

Что-то с ним, безусловно, произошло, непонятное, а может и небывалое, за то короткое время, покуда мы с ним не виделись.

Я сказал ему:

– Почитай!

И приготовился слушать.

Губанов одним рывком не встал, а взлетел с места.
Он стоял посреди моей коммунальной просторной комнаты.
Свет, прозрачный и золотистый, плавно льющийся из окошка, освещал его побелевшее, без единой кровинки, лицо.
Зрачки его снова расширились и стали угольно-чёрными.
Но не было в нём обычной, обострённой, нервической взвинченности.
Было – спокойствие. Странное.
Обречённое. Роковое.
Но – невиданно светлое. Тихое.
Величавое. Доброе. Чистое.
Не спокойствие даже, но – глубь, за которой встаёт благодать.
– Осень, – сказал он грустным, неожиданно дрогнувшим голосом. И посмотрел мне в глаза. – Посвящается это Владимиру Алейникову. Моему – навсегда – закадычному другу.
Потом взглянул за окно, за которым стоял, как в сказке, с теремами своими воздушными, с облаками поодаль, сентябрь.
Сощурился вкось на свет.
И стал, волнуясь, читать.

– Здравствуй, осень, – нотный грот, жёлтый дом моей печали! Умер я – иди свечами.
Здравствуй, осень, новый гроб. Если гвозди есть у баб, пусть забьют, авось осилят. Перестать ронять губам то, что в вербах износили. Этот вечер мне не брат, если даже в дом не принял. Этот вечер мне не брать за узду седого ливня. Переставшие пленять перестраивают горе...
Дайте синего коня на оранжевое поле! Дайте небо головы в изразцовые коленца. Дайте капельку повить молодой осине сердца! Умер я. Сентябрь мой, ты возьми меня в обложку. Под восторженной землёй пусть горит моё окошко.

Губанов закончил читать – и опять посмотрел на меня.
Был услышанным я потрясён.
И тут же предчувствие страшное чего-то непоправимого, что непременно должно произойти с Губановым, резко сжало мне сердце.
Что это? Боже Ты мой!..
– Лёня! – сказал я ему. – Поразительные стихи.
– Тебе понравилось? Правда? – просиял, расцветая, Губанов.
– Очень понравилось. Правда. Настоящие это стихи. Долговечные. Чувствую это. Понимаю. И очень твои, – сказал ему я уверенно, поскольку так и считал.
– Всё я давным-давно, поверь, про себя знаю! – с горечью, с откровенностью, предельной и запредельной, вдруг вымолвил, словно выплеснул наболевшее что-то, Губанов. – Проживу я ровно, запомни, тридцать семь отпущенных мне лет. Умру в сентябре. Вот в этом стихотворении всё про это и сказано.
– Господь с тобой, Лёня! Ты что? – воскликнул я. – Что за страсти такие ты говоришь? Да живи ты ещё сто лет! Зачем на себя самого ты каркаешь? Так нельзя. С такими вещами не шутят!
– Эх! – махнул Губанов рукой, как стрелец, идущий на плаху. – Со мной всё давно уже ясно!.. Меня ты, не сомневайся, точно переживёшь. Вспомни когда-нибудь, в будущем, когда не будет меня, этот день в сентябре. Всё я знаю про себя наперёд, всё знаю...
Нелегко было мне, после всех этих Лёниных откровений, сохранять, пусть и внешне, вынужденно, с беспокойством в душе – спокойствие.

Долго мы с ним тогда говорили.

За окошко смотрели. Курили.
Вечерело. Кружилась листва.
И росло – продолжение родства.
С тем, что есть. С тем, что будет потом.
С тем, что дремлет во сне золотом.
С тем, что явью издревле зовётся.
С тем, что песней потом остаётся.
Песней – сказкой. Чья речь хороша.
Песней – былью. И песней – преданьем.
Песней – правью. И песней – страданьем.
Всем, с чем с детства сроднилась душа.

Он открылся мне искренне, весь.
Он пришёл ко мне – сам. Выходит, надо было ему прийти не куда-нибудь, а сюда.
Он сказал мне тогда важнейшие для него, сокровенные вещи. И рад был, что я его лучше других понимаю.

Он читал мне свои стихи – и они открылись мне тоже, сами, причём по-иному, нежели день назад.

Я понял, насколько, при всех оговорках, они органичны.

Понял я, что принимать их следует мне такими, какими они явились в мир, который, при всей неразберихе своей, смешанной с красотой, как и поэзия, в нём живущая, был и есть.

Всё, что необходимо, стихи эти сами скажут за себя, скажут, раньше ли, позже ли, но обязательно скажут.

И это его, пронзительное, сквозь время ко всем обращённое:

– Государь! Не веди казнить! Вели слово молвить!..

И голос его, взволнованный.

И взгляд его, грустный, горестный.

И ясный свет в сентябре...

И, хотя в шестьдесят четвёртом даже до роковых тридцати семи лет жизни, на которые он сознательно закодировал сам себя, времени, для всего, что нужно человеку в молодости, казалось ещё так много, его мне уже сейчас, не медля, хотелось спасти.

Обречённость свою, в сознание намертво, прочно вошедшую, врезавшуюся в сердце, проникшую в душу, в кровь медленным ядом впитавшуюся, точно груз, непомерно тяжёлый, от которого не отделаться просто так, ничего не выйдет, потому и тащи, терпи, надрывайся, брат, не пытайся даже в мыслях освободиться от навязанной, кем – неведомо, и когда – неизвестно, жертвенной и мучительной этой ноши, от вериги этой чудовищной, он с собою всегда носил.

В свои восемнадцать – знал о себе он самое страшное.

И всё-таки он – жил.

И – живущий – писал стихи.

Может, всё ещё обойдётся?

Может, к лучшему всё изменится?

Может, Бог его всё-таки милует?

Что сказать? Не нужны здесь слова.

В этот день сентябрьский, с пронзающим ткань романтики прежней, с кружевом из наивности, как игла, диковатым, пока что, но явным, даже больше того, неизбежным ощущением грядущей драмы и трагедии, вслед за ней, началась моя дружба с Губановым.

Впереди была – осень. И всё, что ждало меня в ней.
Впереди была – молодость. Кто мне вернёт её ныне?
Впереди было – всё. Только лучшее. Как у России.
Впереди были – годы, где речи пришлось выживать.

* * *

Вот что значит молодость! Мы так стремительно, искренне так и крепко сдружились с Губановым, что нам обоим казалось, будто мы знакомы сто лет.

Вовсе не сто, конечно. Это преувеличение. Но все так тогда говорили.

Во всяком случае, нам представлялось, что дружба эта золотая была всегда.

Лёня сразу же зачастил, всё смелей и охотней, ко мне.

Я и сам, иногда, при случае, стал бывать у него дома.

Вместе с Лёней мы совершали регулярные вылазки в город, к разномастным, разнообразным знакомым – его и моим.

И везде, где бы ни были мы, прежде всего – звучали тогдашние наши стихи.

Я познакомил Губанова со своими друзьями – Димой Борисовым, человеком особенным для меня, историком и мыслителем, лидером нашей компании дружеской, образовавшейся осенью прошлогодней, Володей Брагинским, прозаиком, будущим востоковедом, Сашей Морозовым, в молодости поэтом, но и филологом своеобразным, как выяснилось с годами, несколько позже, Михаликом Соколовым, сокурсником по МГУ моим, а потом, со временем, отличным искусствоведом.

Для него, паренька дворового, хулиганистого, задиристого, непокладистого, упрямого, заводного, с характером трудным, нравом буйным, это была элитарная, интеллигентная, из хороших семей, разумеется, просвещённая, высоколобая, семи пядей во лбу, как в присказке не случайной, серьёзная публика.

Он тут же, встряхнувшись, подтягивался, становился как-то подчёркнуто, нарочито, сознательно вежливым, но неизменно, при всяком подходящем, удобном случае, утверждал, что все эти люди – образованные, и ладно, а вот он – это, братцы, совсем другое, таких, как он, днём с огнём ни за что не сыщешь, а если и обходилось без таких заявлений, резких, с перебором, то всё равно всем видом своим, хорохорясь, этак с вызовом, гордо, со всякими имевшимися у него в обиходе, в запасе, в заглазнике, будто бы специально для таких ситуаций, словечками, со взглядами вскользь, которые так умел он бросать на людей, заставляя их часто врасплох и смущая их не на шутку, со своим поведением гения, всеобщего, звёздного баловня и даже, вот-вот, несмотря на возраст, мэтра, пускай и молодого, поскольку и такое бывает порою, хоть и редко, но всё же случается с кем-то в жизни, да с ним, например, давал всем понять, что цену себе он знает прекрасно, а потому и требует, от всех без разбора, к себе внимания и уважения.

С Колей Мишиным и Аркашей Пахомовым было ему общаться намного проще. Здесь быстро установились отношения лёгкие, свойские, панибратские, игровые, со всяческими приятельскими шуточками, подковырками, весёлыми прибаутками, с обращением вечным к нему: «Губаныч», «Губан», «Лёнька», порою и «Лёничка», ласково, с некоторым любованием им, потому что, знали все, при его-то умении сразу же расположить к себе людей, при его-то редкостном обаянии, при его-то, прямо брызжущей из него, разлетающейся от него, во все стороны, веерами ослепительных, жарких искр, и всех вокруг, без малейшего исключения, поражающей, даже больше, сплошь изумляющей, озадачивающей талантливости, никаких особых

трудов ему никогда не стоило завоевать сердца новых своих знакомых и превратить их с ходу в добрых своих друзей.

С Юрой же Кублановским обстояло дело иначе. Здесь, при взаимном их интересе давнем друг к другу, а у Куба и откровенном, нескрываемом любопытстве, сразу возникло некое, заметное всем, напряжение, словно черта незримая между ними существовала, разделительная, очевидная, межевая, для них обоих, почему-то не позволяющая сблизиться им потеснее. Но всё равно, и натянутые, непростые их отношения, даже такие вот, с явной или спрятанной недосказанностью, с обоюдной настороженностью, с приглядыванием, с прищуром, сквозь дни, одного к другому, с поглядыванием, с усмешкой, сквозь года, на поступки другого, с интересом, ревнивым и пристальным, к творчеству, прежде всего, другого, сквозь время смурное, считались тогда дружбой.

Дружбы тогда образовывались по принципу «свой» ты или «не свой», вариация простенькая: «наш» ты или «не наш». Много значило то, что все мы, при всех наших явных различиях, всё равно были единой средой.

Лёня мог очаровать, запросто, без усилий, между делом, кого угодно. И особенно всяких московских околотитературных пареньков и девиц восторженных, то ли пишущих что-то своё, то ли просто скромных любителей заполнявших эпоху стихов, губановских страстных поклонников, так и липнущих всюду к нему.

Но Лёня был в состоянии очаровать и людей посolidнее, посерьёзнее, причём и здесь, разумеется, никаких особых усилий ему никогда не требовалось. Был он просто самим собою, вот и всё. Как обычно, срабатывала – магия дара его.

Мои друзья с интересом присматривались к нему.

Помню, как-то на Маяковской увиделись мы с Губановым, чтобы дальше потом куда-то идти по своим делам, – и вдруг, это надо же, встретились неожиданно с Димой Борисовым.

Лёня, с первой же встречи с ним и знакомства короткого, понял, что Дима для многих в столице и, в частности, для меня человек особенный, избранный, по всей совокупности редкостных, несомненных достоинств своих, а потому и несколько напрягался всегда, робея и тушуясь вмиг перед ним.

И вот мы стояли втроём на площади многолюдной, посреди осеннего дня, и о чём-то простом говорили.

Губанов, нахохленный, с чёлкой взъерошенной, сжавший губы плотно, с капризной ямочкой на подбородке детском, коренастый, скуластый, стоял рядом, но как-то поодаль, очень уж отъединённо, – здесь он вроде и вроде бы нет его, нет его почему-то, но здесь он, хоть совсем и не здесь, – от нас.

Я почувствовал вдруг, что он, словно в некоем, с мистикой всякой, чёрно-белом фильме немом, безмолвно и неотвратимо, с неизбежностью страшноватой, отодвигается в сторону.

Я посмотрел на него пристальнее, внимательнее, сощурившись, – и удивился произошедшим в нём, за секунды, всего-то, какие-то, негданным переменам.

Смотрел он вроде бы в сторону кольца Садового, где шумели машины, толпы людские шагали к метро, кружились в прохладном воздухе жёлтые и багряные листья, внезапно сорванные налетевшим ветром с ветвей деревьев, смиренно ждущих на обочинах, вдоль дороги, то ли проблеска солнышка робкого, то ли признаков новой зимы, там, на севере ледяном, вдалеке, отсюда не видно, хоть почуять дыханье холода можно всё же, уже сейчас, – он смотрел туда, но, как будто бы, сквозь реальность, ещё куда-то, за какую-то грань алмазную, с острой фаской, пока что незримую, для других, для него же воочию различимую впереди, в прозреваемое им сейчас будущее, быть может.

Лицо его похорошело, белизна застылая гипсовая схлынула разом со лба, щёки слегка, но всё-таки заметно порозовели, глаза, широко раскрытые неведомому вдали, разгорелись таинственным пламенем.

Он весь был – сплошные глаза.

Они, глаза его, жили отдельно совсем от него.

Они светились, глаза его.

Да, они были двумя источниками странного света.

Сам Губанов, носитель глаз, излучающих свет, находился, вроде бы, здесь, и, вроде бы, одно лишь воспоминание о нём, неожиданно возникшее, некую зримую плоть, не духовную ли, обретшее, оставалось устойчиво рядом.

Такое вот ощущение возникло тогда у меня.

Дима Борисов задумчиво посмотрел на него и негромко сказал мне:

– Какие прекрасные у него, у Лёни, глаза!..

И Губанов, со слухом своим, отменно хорошим, больше, пронзительно-цепким, на слово, – это, конечно, услышал.

Он словно вышел к нам из своего негаданного, пугающего, тревожного, странного отрешения.

Он посмотрел на Диму, так, как один он умел это делать, – и благодарно, грустно вдруг улыбнулся ему.

Дима был ошарашен, смущён, потрясён. И запомнил это.

И потом, значительно позже, когда всех нас поистрепала, не согнув почти никого, не сломав никого из самых выносливых и упрямых, не убив, до поры до времени, хоть кого-то, из нашего круга, небывало жестокая жизнь, о глазах губановских осенью шестьдесят четвёртого, серых, с поволокою бирюзовой, излучающих свет несказанный, и ещё – об улыбке его, сразу грустной и благодарной, с чувством, с нежностью, с изумлением, не единожды вспоминал.

* * *

Но в том же, всё в том же, щедром на события, сентябре произошла, запомни, читатель, ещё одна встреча, причём знаменательная, которая незамедлительно сыграла в судьбе Губанова едва ли не главную роль.

Поэту Саше Юдахину понравилось, видимо, быть таким добрым волшебником.

Он был чрезвычайно доволен, что с Лёней мы подружились.

Он всем в Москве говорил:

– Это именно я познакомил Алейникова с Губановым!

И сейчас он так говорит.

Однажды Юдахин, придав лицу своему спортивному серьёзное выражение, степенно сказал нам с Лёней:

– Вот что, ребята. Слушайте. Я хочу познакомить вас обоих с Алёной Басиловой. Алёнка – своя в доску. Молодая, очень красивая. Пишет, конечно, стихи. У неё свой салон. Там люди собираются интересные. Алёнкина бабка – сводная сестра Лили Брик и Эльзы Триоле. У неё когда-то все российские футуристы дневали и ночевали. Маяковский бывал постоянно. Пастернак любил заходить. Алёнкин покойный отец был, представьте, сорежиссёром самого Мейерхольда. Звучит? Пробирает? Интересует? Алёнкина мать, Алла Александровна, женщина чудная, Рустайкис её фамилия, тоже пишет стихи, а также либретто для оперетт. Семья, одним словом, с традициями. И даже больше, с историей. Я уже рассказал Алёнке о вас. И она ждёт нас в гости. Прямо сегодня. Поехали!

Почему же, скажите, было нам, приглашённым туда, не поехать?

И, тем более, не куда-нибудь, лишь бы время там скоротать, вечерок провести, но в семью с традициями и с историей?

И вот мы втроем уже были в старомосковском доме на шумной Садово-Каретной.

На двери, типичной вполне, материализовавшейся перед нами, существенной грани меж подъездом всем и квартирой, возле звонка отдельного, прикреплена была вырезка из журнала, броские имя с фамилией, крупным, чётким шрифтом отпечатанные в типографии, так, что сразу в глаза бросалось и мгновенно запоминалось навсегда: «Алёна Басилова».

Юдахин, с лицом серьёзным, решительно позвонил.

Дверь открылась – и встретила нас молодая, цветущая женщина.

Поздоровалась хрипловатым, хорошо поставленным голосом – и затем пригласила войти.

Квартира была коммунальной.

По длинному, захламлённому, замызганному коридору, насквозь пропахшему запахами кофе, супов, духов, специй, грудями сохнувшей на вешалках шатких одежды, стоящей по закуткам, по углам полутёмным, обуви, чего-то ещё, московского, коммунального, общежитейского, бытового, на что никто не обращал, здесь, видимо, никакого, годами, внимания, мы прошли, друг за другом, в большую, по меркам столичным, комнату.

Она, как-то очень удачно, поначалу, с первого раза, незаметно, соединялась ещё с одной, поскромнее, поменьше, невзрачной комнатой.

Высокие потолки, высокие тусклые окна, выходящие на Садовое, с вечным транспортным гулом, кольцо.

Старая, прочная, тёмная, хорошего дерева, мебель.

Широкая, чем-то пёстреньким прикрытая наспех, тахта. Стулья, массивные, очень тяжёлые, с места не сдвинуть. Низкий столик, на нём прелестные, фарфоровые, кузнецовские, лепестками воздушными брошенные на поверхность ровную, чашки, пепельницы, сигареты, на огне закопчённые джезвы.

Много книг. На буфете, на полках. На полу, под ногами, валялись издания раритетные сборников футуристов, пожелтевшие томики фетовских чудесных «Вечерних огней» – прижизненное издание, и много чего ещё.

Стены были щедро увешаны картинами, преимущественно в розовых, палевых, охристых тонах, оказалось – работами художника и приятеля хозяев, Алёши Смирнова.

В этой комнате собирались, ежедневно, ежевечерне, по утрам, по ночам, и даже непонятно, в какие часы, потому что какая разница, что за время, какое, милые, здесь, у нас, в тепле и покое, в добром доме, тысячелетие на дворе, незванные, званные и какие-то вовсе уж странные, вроде ряженых или юродивых горемычных, залётные гости.

В соседней комнате, где, в тесноте, да в уюте, жили Алёнины мать и бабушка, стоял непомерно большой, занимающий много места, концертный чёрный рояль.

Алёна была – красивой.

По Хлебникову: как мавка.

По-врубелевски: таинственной.

По-восточному: смоль с молоком.

Бледное, чистое, нежное, тревожное, непреложное, – пророчица? вестница? львица? – пронзительное лицо.

Длинные чёрные волосы. Густые. Горечь и ночь.

Светлые, цвета блёклой незабудки, с искоркой шалой, с поволокой хрустальной, глаза.

Белые, гибкие руки. Музыкальные, длинные пальцы.

Тонкие губы, с улыбкой, леонардовской, тихой, магической. Точёные, стройные, ножки в стоптанных маленьких туфельках.

Обаяние редкое. Шарм!

А голос её, хрипловатый, словно слегка надтреснутый, то, нежданно для всех, понижающийся до волшебного полусшёпота, то, внезапно, вдруг, возрастающий, обретающий смело высокие, выше птичьих трелей, тона!

И так она просто держится!

И так мила и приветлива!

Настоящее чудо. Столичное.

В стольном граде – весьма необычное.

(Для меня-то – донине – личное.

Потому-то – сквозь век – единичное).

Молодая хозяйка, прекрасная, в красоте своей огнеопасная, знаменитейшего в Москве, лучше всех остальных, салона.

Собеседница – навсегда.

Чаровница. Денница. Звезда.

Немудрено, что всё это глубоко поразило Губанова.

Удивительно и другое.

Алёна – с первого взгляда, сразу, влюбилась в Лёню.

И тут же, в день первой же встречи, начался их роман, о котором вскоре заговорили все.

Губанов тоже, конечно, впечатлившись, влюбился в Алёну.

Однако, не сразу. Или, скорее всего, из упрямства, просто сделал вид, что не сразу.

Поначалу он – дал ей возможность не на шутку влюбиться в себя.

Позволил влюбиться в гения.

И разгорелась у них такая любовь, что впору об этом когда-нибудь отдельную книгу писать.

Мне Алёна тоже понравилась.

Даже очень. Зачем скрывать?

Мы с ней сразу же стали друзьями.

Без всяческих там амуров, что могло бы в дальнейшем быть, с вероятностью, впрочем, туманной, да нам не нужно было вовсе.

Стали мы с ней – друзьями.

Хорошими. Настоящими.

И – надолго. Редкость, конечно.

Потому-то и говорю я обо всё этом бережно так и взволнованно, что понимаю, как судьба к нам была добра.

В нашей дружбе – свет был немалый.

Благородство. Нежность, пожалуй.

Огонёк, рискованный, шалый.

С песней – искорка от костра.

До чего же она была хороша, Алёна Басилова!

Как умела вести беседу!

Сколько знала всяких историй!

И люди какие, действительно интересные для меня, были запросто вхожи к ней, в старый дом на Садово-Каретной, куда так-то просто попасть нельзя было – избирательность, здесь при-

вычная, много значила, – и отбор был серьёзным, и гости вечерами сюда сходились, – хорошо здесь бывало всегда.

Была она другом надёжным и настолько своим человеком для меня, что я доверял ей порой даже то сокровенное, чего другим, не таким, сроду бы не сказал.

И она, точно так же, делилась, доверяя мне абсолютно, со мной тем особенно важным для неё, даже тайным, заветным, чего никому другому не сказала бы никогда.

Редкие, в общем-то, дружбы молодого мужчины с женщиной, молодой, к тому же красивой, даже в молодости, – бывают.

У меня с Алёной – была.

Приведя к Алёне Башиловой, звезде богемной, хозяйке столичного, в трёх поколениях творческих, поголовно, колоритных, ярких людей прославленного салона, двух поэтов – меня и Губанова – молодых и уже известных, закружил на этом Юдахин свои волшебные подвиги.

Ушёл незаметно в сторону, в собственную, по-своему интересную, бурную жизнь.

Отодвинулся в глубину то ли вечера, то ли ночи, то ли утренних, с холодком, с ветерком сквозящим, часов, то ли дней, которые всё-таки надо было чем-то заполнить, с чувством, с толком и с расстановкой, как положено, как всегда получалось у человека поэтического и практичного, со спортивной крепкою жилкой, с негасимым внутри огоньком.

Дело-то было сделано.

С очевидной пользой для всех.

И он этим очень гордился.

Ну а мы с Губановым стали часто бывать у Алёны.

Всё чаще. И всё охотнее.

Зачастили. Во вкус вошли.

Нет, шучу. Просто – к дому пришлись.

Были рады там – нам обоим.

Поначалу бывали – вместе.

А потом – уже врозь, по отдельности.

Так сложилось. Так получилось.

Так разумней. И лучше – для нас.

Я здесь бывал запросто. В отношениях добрых был и с Алёниной матерью, Аллой Александровной, полной, медлительной, несколько томной, красивой женщиной, почему-то казавшейся мне пожилой, хотя была в те года она хороша собою и достаточно молода, и с бабкой, любившей со мной разговаривать и вспоминать былые богемные годы.

Показывая на рояль, бабка мне говорила:

– Вот, любил под этим роялем наш приятель, художник Осьмёркин ночевать. На полу. Всех нас уверял, что здесь ему очень нравится.

Или, в угол взглянув зачем-то:

– Вот здесь, в уголке, обычно Маяковский любил сидеть. Добрый он был. Печальный. И одинокий какой-то. Совсем не такой, как этот просто ужасный памятник на площади, ну ни капельки не похожий, официальный.

Или, стоя возле окна:

– Вот тут, вот на этом самом подоконнике, мы с Пастернаком однажды вдвоём сидели. Рано утром. Ни свет, ни заря, он пришёл, взбудораженный, к нам. Был изрядно выпивши. Ладно уж. Согласитесь, ну с кем не бывает! Да ещё и вина принёс. И тогда мы выпили с ним. Целых три часа, или больше, говорил он, а что говорил – совершенно сейчас не помню. Клёкот сплошной, бормотание. То захлёб, горячо, увлечённо, то чуть слышно, едва разберёшь.

Только звук его голоса в памяти и остался. Шмелиный гул. Что-то вроде виолончели. Музыкальный голос. Живой.

Манера подобная – связывать с кем-нибудь или с чем-нибудь какое-нибудь, любое, место в доме или попавшийся на глаза случайный предмет была в молодые годы и у самой Алёны.

Увидит, положим, на полке флакончик пустой от духов – и тут же мне говорит:

– Вот, надо же, были духи французские. Прелесть, и только. Шанель. А теперь их нет.

Пришёл на рассвете ко мне Вознесенский, с большого похмелья, увидел духи – да и выпил.

Увидит в углу забытую, недопитую рюмку – и сразу:

– Это Сапгир приходил. Ночью, представь себе. С выпивкой. Спать никому не давал. Стихи свои новые нам желал почитать, немедленно. Много, целую книгу. Я совсем не спала, ни минуты. Слушала. Кофе варила. Генрих выпил, рюмка за рюмкой, две бутылки водки. Потом начал третью, но не осилил. Поехал домой, отсыпаться.

Посмотрит вскользь на гитару, под рукою всегда стоявшую, наготове, – и говорит:

– На ней Окуджава играл. Пел он у нас недавно. Помнишь песню его чудесную – «Эта женщина – увижу и немею...» Это он мне посвятил.

Ну и далее, в том же роде. Предмет – и рассказ.

С подробностями. С деталями конкретными. Множество раз.

Алёна была человеком смелым, даже отважным.

Способна была на решительные, непредвиденные поступки.

Что бы ни происходило с ней – она всегда находила выход из положения, верный, точнейший ход.

Как давалось ей это? Непросто.

Но всегда она – побеждала.

(Нрав. Характер. Приметы роста.

Волевое – в действе – начало).

Через много лет, отшумевших друг за другом, сплошной чередой, после бурных смогистских времён, отошедших, с шумом и с грохотом, со слезами, с кровью, в былое, в совершенно иную пору, в дни всеобщего разобщения, разбросавшие всех нас поврозь, но приязнь взаимную нашу одолеть и убить не сумевшие, ну а с нею и память о молодости, в бесконечные, грустные дни выживания и терпения, в дни метаний её и надежд на какие-то слишком уж призрачные улучшения в жизни, когда у неё украли машину, она, огорчившись, вначале обратилась, как полагается нашим гражданам, прямо в милицию.

Но когда поняла, что там не помогут ей никогда, возмутилась и занялась необходимыми поисками сама, по всем детективным, классическим, шерлокхолмсовским, твёрдым, железным правилам. И машину свою – нашла.

Украли её, как выяснилось впоследствии, сами менты.

Об этом в «Литературке» даже статья была.

Родственные отношения с Лилей Брик и её сестрой, живущей во Франции, Эльзой Триоле, супругой поэта-коммуниста, сюрреалиста бывшего, Арагона, помогли Алёне однажды, в беспросветных семидесятых, под настроение, видимо, взять да и съездить в Париж.

Мать губановская, сотрудница ОВИРа, никак не хотела выпускать её из страны и всячески ей препятствовала.

Сердилась она тогда на Алёну, из-за сыночка, из-за Лёни, одной из виновниц сумбурной жизни которого считала, забыв о прочих, прежде всего – её.

Но Алёна её победила – и вырвалась за границу.

И побывала в Париже.

И возвратилась в Москву.

А несколько позже – не только помирилась, но умудрилась подружиться с мамашей губановской, не такой уж суровой в общении, как на службе, вполне симпатичной, истомлённой безумствами сына и нелёгкою долей женской, но достаточно стойкой дамой.

Мне Алёна была – верным другом.

В тяжелейших былых ситуациях, особенно в долгий период безысходных моих бездомниц, она выручала меня.

Да и сама она, в любую минуту, могла обратиться ко мне за помощью – и об этом прекрасно помнила.

Ну а Лёня... Лёня – другое.

Лёня – это её любовь.

Была она года на три, не больше, постарше Губанова, но это ведь пустяки.

Оба они превосходно, удивительно быстро, спелись.

Песнь любовная их получилась, по судьбе, двухголосной и страстной.

Не сомневаюсь нисколько, что и теперь эта песнь в Алёнином сердце жива.

Да, очень ко времени, право же, пришлась Алёна Басилова, богемная фея, в Москве.

Без неё, наверное, добрых полтора десятка насыщенных до предела всем невозможным и возможным для памяти лет были бы для меня не такими, совсем не такими, каковыми они оказались – во многом благодаря лишь тому, что Алёна присутствовала в этих, ставших легендой, годах.

(Приедешь, бывало, к ней, созвонившись, обычно, заранее. Но иногда и спонтанно заскочишь, так, на авось.

Откроет она, улыбнувшись, тяжёлую старую дверь квартиры. Войдёшь в прихожую. Чуть позже – в комнату к ней.

На улице холод, снег. Продрогнешь там до костей. Ветер такой, что с ног валит. Кошмар московский.

А у неё – тепло. Форточка даже открыта. От батареи отопления жаром пышет на метр.

Посмотрит она, сощурилась, на меня, внимательно, пристально. Вздохнёт. Улыбнётся снова. С лукавинкой подмигнёт.

Пойдёт не спеша на кухню коммунальную, сварит кофе. Принесёт. На столик поставит. И – присядет напротив меня.

Я достану бутылку вина. Открою. Мы выпьем с нею. Понемногу. Так, для сугреву. Для начала. Выпьем ещё.

Кофеек ароматный станем отпивать помаленьку. Закурим. Дым поднимется сизыми кольцами к высоченному потолку.

Ни о чём не станет она меня дотошно расспрашивать. Мало ли что со мною там, в отдаленье,стряслось?

Зачем непременно в душу лезть? Если будет надо, сам расскажу о том, что тяготит или мучит.

Уж она-то поймёт, что сейчас надо просто побыть со мной рядом, поддержать человека, друга, помолчать, в глаза посмотреть.

Возьмёт Алёна гитару. Настроит её привычно. Под пальцами, длинными, гибкими, отзовутся рокотом струны.

Сядет напротив: белое лицо, грива чёрных волос по плечам, голубые глаза, лёгкие тонкие руки.

И запоёт она старинный романс. Прелестный. Волшебный. С горчинкою тайной и сладостью непоказной.

Или что-нибудь, с озорством, на подъёме, повеселее, например, наподобье такой, как воробышек, бойкой песенки:

– Город Николаев, фарфоровый завод. Живёт одна девчоночка двадцать первый год. С вами, мальчишки, с вами пропадёшь, с вами, негодяями, на каторгу пойдёшь!..

И тогда улыбнёшься вдруг, сам, невольно. И рассмеёшься. Всем обидам своим, огорчениям и нелепицам – вопреки.

И тогда на душе у тебя станет сразу же веселее. И встаёшь, ни о чём не жалея – и друзей драгоценных любя.)

Не удивительно вовсе, что вскорости Лёня с Алёной неразлучными стали. Спелись. Основательно. Больше: срослись. Полюбили друг друга. Сроднились. Всюду вместе ходили. Богема ошарашенная обсуждала новость эту: ну и дела!..

Будучи, как известно, далеко не подарочком, Лёня отчебучивал в доме, где все полюбили его, порою такое, о чём и сегодня говорить неохота. Бузил. Напивался. Лез на рожон. Скандальил. Бил стёкла. Посуду крушил. Под окнами ночью орал, порываясь в квартиру проникнуть. Ломился в дверь. Нарушал устоявшийся быт.

Но это ему прощали. Всё здесь ему прощали.

Отпаивали валерьянкой. Успокаивали. Утешали.

Его ведь считали гением. Чистой воды. Натуральным.

Гения – русского, буйного, – следовало беречь.

И тем более не удивительно, что Губанов с Алёной Башиловой через некоторое, недолгое, время, взяли да поженились. Честь по чести. Официально. То есть – в загсе зарегистрировались. Вместе стали жить. Как положено. Чем не пара? Всем парам пара!

Голубки, да и только! Пташки.

Ворковали нежно вдвоём.

Он ей:

– Лёка, Алёнка! Лапа!..

Она ему:

– Лёка, Лёничка!..

Блаженство. Сцена любовная.

Идиллия. Пастораль.

В шестьдесят шестом, поспокойнее предыдущего, с бурями многими, восстанавливавшим постепенно ритмы жизненные и силы, и душевные и физические, завиток спирали таинственной распрямившем слегка году, в мае месяце, по настоянию Алёны, категорическому, даже больше, ультимативному, чтобы воздухом свежим дышать, для здоровья, прежде всего, сняли мы в Переделкине дачу.

Две семейные пары. Слишком уж необычные. Молодые.

Алёна с Лёней Губановым.

И я с тогдашней моей женой Наташей Кутузовой.

Два знаменитых на весь мир подлунный смогиста.

Два гения. Вместе с супругами.

Дом, который облюбовали мы, расположен был на краю территории дачной. За ним начинался обширный пустырь, а за этим диким пространством, поблизости, проходила железнодорожная линия. Участок за шатким забором был просторный, заросший деревьями: соснами, по-лесному высокими и раскидистыми, по-корабельному пахнущими терпкой, густой смолой,

и лиственным чем-то, помельче, но тоже густым, изобильным в зелёном своём роскошестве, трепещущим лёгкой листвой и пронизанным, словно нитями серебристыми, птичьим щебетом.

Губанов с Алёной жили в комнате, расположенной на первом, с ветвями, глядящими в окошко их, этаже.

Мы с Наташей жили в другой комнате, на втором этаже, небольшой, уютной, очень светлой и симпатичной.

Всё шло хорошо. Мы вставали, вместе с птицами, или позже, кто когда, согласно привычкам и желаньям капризным своим, пили чай или кофе, беседовали, принимали гостей, выпивали, понемногу, для настроения, иногда гуляли в лесу, я стихи писал, а Губанов сочинял чудесные сказки для детей, и деньки подмосковные были радостны и чисты.

И однажды, среди ночи, поздно, мы с Наташей слышим отчаянный, жутковатый губановский крик:

– А-а-а!..

И звуки, следом за криком, грохочущие: бум! бум!

Потом слышим снизу пронзительный, истошный Алёнин вопль:

– А-а-а!..

Что случилось? Война? Пожар? Или, может, землетрясение?

Выходим с Наташей, сонные, толком ещё ничего не соображая, из верхней, своей, как считали мы, комнаты.

И видим такую картину.

По деревянной скрипучей лестнице к нам наверх, тяжело, с натугой дыша, еле-еле передвигаясь, шажок за шажком, одной рукой держась за перила, чтоб не упасть, а другой рукой за сердце хватаясь, поднимается к нам Алёна, в белой, длинной, до пят, свободной, измятой ночной рубашке, с распущенными, всклокоченными чёрными волосами, с безумными, в точку одну глядящими неподвижно, сквозь ночь, голубыми глазами, с лицом, не бледным отнюдь, а совершенно белым, настолько белым и странным, что казалось оно поначалу каким-то потусторонним, и на этом лице мистическом, на сплошной белизне его, под глазом, уже проступает некая синева, нарастает, неожиданно темнеет, превращается в нечто лиловое, набухает комком, превращается в нечто чёрно-лиловое, мрачное, занимает, став сгустком чудовищным, половину лица, – и Алёна, ни жива, ни мертва, не идёт, а как-то наискось тянется, вверх по лестнице шаткой, к нам, и только стонет и стонет, не в силах и слова сказать.

Ничего себе, други, видение!

Когда мы её поддержали, помогли добраться до нас, успокоили, то оказалось, что под глазом у нашей подруги вырос просто невероятный, здоровеннейший тёмный фингал!

Вот что произошло у воркующих в Переделкине голубков.

Алёне в ту ночь не спалось. Она встала тихонько и вышла покурить, в своей длинной, белой рубашке ночной, с распущенными чёрными волосами.

Губанов же то ли никак не мог заснуть, то ли мучился с похмелья. Он пребывал в состоянии меж засыпанием и ещё не пришедшим сном.

И когда, возвращаясь в комнату, на пороге Алёна встала, ненадолго совсем, вся в белом, – то Губанову померещилось, что стоит перед ним привидение.

Вначале он просто, с испугу, заорал. Всем известна была его чрезмерная мнительность.

Потом проявились в нём его бойцовские качества.

Не долго думая, он вскочил и заехал ногой, посильней, со всего размаху, прямо в физиономию так его, бедолагу, испугавшему привидению.

После чего, с осознанием одержанной им победы, немедленно отключился.

Так что воплей Алёниных он уже не слышал. Он спал.

Вопли слышали – мы. Истошные. Отчаянные. С надрывом.

И фингал под глазом Алёниным, здоровенный, видели – мы.

И всю ночь, позабыв о сне, растерянные, взволнованные, до утра, с его благодатным и целебным листовым шелестом, птичьим щебетом под окном, переключками электричек вдалеке, ветерком прохладным, что само по себе приятно, и особенно для болящей, исстрадавшейся женской души, для израненной нашей подруги, успокаивали Алёну.

Чаем её отпаивали. Душистым, свежесваренным.

Вина ей сладкого налили.

Примочки нужные делали.

Словом, разными способами поддерживали подругу.

И она, помаленьку, не сразу, наконец-то пришла в себя.

А Губанов – спал себе, мирно, преспокойно. Всё спал и спал.

И когда, проснувшись, он вспомнил, как лихо расправился ночью с привидением, то, взвинтившись, вскочил и тут же, немедленно, ринулся к нам, чтоб скорее поведать друзьям о случившемся.

И увидел у нас жену свою, Алёну, с фингалом под глазом.

И весьма удивлён был: откуда эта дрянь на лице у неё? В драке, что ли, она побывала?

А когда мы ему объяснили, в чём дело, то не поверил, что виновник фингала, возникшего, неизвестно, как, и откуда, и зачем, под Алёниным глазом этой ночью – именно он.

Куда приятнее было ему ощущать себя героем, былинным витязем, одержавшим победу в жестоком сражении с привидением. А заодно и с прочими, нехорошими, тёмными силами.

Так он решил – и точка.

Так ему нравилось думать.

И, чтобы скорее отпраздновать свою ночную победу, а заодно, конечно, и вовремя опохмелиться, он сразу же предложил мне стонять вместе с ним в магазинчик пристанционный, за пивом.

Что мы и осуществили.

Наверное, пиво это, выпитое на воздухе, среди сосен, под ясным небом, в переделкинском тихом дворе, помогло и Алёне избавиться от страданий своих ночных.

Через день-другой от фингала на лице и следа не осталось.

И голубки продолжали ворковать в окружении птиц, распеваящих песни свои, и деревья, листвою шелестящих и скрипящих широкими кронами на прохладном, сквозном ветерке, на свежем, пропитанном запахами вешних трав, подмосковном воздухе, в тишине, в непосредственной близости от писательских дач, с их жителями, литераторами советскими, сплошь и рядом официальными, глубоко ненавистными доблестному предводителю всех смогистов, победителю привидений, Губанову, и в Переделкине сияло весёлое солнышко, голубело чистое небо, и на Лёню уже нисходило желанное вдохновение.

Много всяких историй бывало.

Их полку всегда прибывало.

По прошествии лет – не счесть.

Что ни шаг – то напасть иль весть.

Молодая любовь. Горячая.

То на ощупь, а то и зрячая.

То наитье, а то и ожог.

Изумленье. Горенье. СМОГ.

(Звук не гаснущий. Век – неистов).

Эпизод. Из жизни смогистов.
Просто – вспомнилось. И – осталось.
Вот и всё. (Ну а сердце – сжалось).

Алёна была, разумеется, участницей, нет, героиней, да ещё и какой, смогистского, на глазах у неё зарождавшегося, чтоб расти и всё крепнуть, движения.

И вообще была она – хорошей. Просто – хорошей.

Осталась она для меня – молодой. Уже навсегда.

Такой вот феей – красавицей – белолицей, черноволосой, белорукой, голубоглазой, другом верным, соратницей давней, современницей славной моей, – пусть живёт она в книгах моих.

В них ещё мы увидимся с нею.

Хотя, впрочем, всё в нашей власти, если власть эта – русская речь. При некотором желании нам, пожалуй, прямо сейчас можно с ней увидеться. То-то вспоминаю частенько её.

Не хочет она, Алёна, никуда уходить. Понимаю. Узнаю характер крутой, звёздный нрав. Соскучилась, видно.

Да и я соскучился тоже. Сколько лет мы не виделись? Много. Ничего. Наверстаем сполна всё упущенное. И так...

Поздней осенью шестьдесят четвёртого, в хмурую пору, в конце ноября, наверное, читал я свою осеннюю, новую книгу стихов, друзьям – Алёне и Лёне.

Жили они тогда, временно, в чьей-то квартире. В каком конкретно районе – совершенно сейчас не помню. Я её, эту чужую, пустующую квартиру, просто не воспринимал, как именно их жильё.

Но зато чету молодую, голубков московских воркующих, до сих пор прекрасно я помню. Они были тогда очень счастливы.

Я приехал к ним. Навестил их. Они звали меня специально – чтобы новые вещи мои там, в пристанище их, услышать.

Стал я читать. Волновался очень. Весь даже взмок. Напряжение было таким, что меня иногда пошатывало. Первое чтение свежих стихов своих – самое сложное. Пусть читаешь даже немного и недолго, так, для начала, для того, чтоб услышать звук самому, воскресить в сознании строй, движение, ритмы, пластику, речь, ведущую за собой..

А я прочитал – всю книгу.

Наконец, я закончил чтение, необычно, страшно устав.

Губанов, нервичный, бледный, монотонно меня нахваливал.

И тут проявила свои душевные свойства Алёна.

Она подошла ко мне, погладила по плечу:

– Вовка, родненький, дорогой, лапа, миленький, успокойся! Ну что это ты сегодня так сильно разволновался? Нельзя же так вот выкладываться, как это делаешь ты. Так ведь и помереть можно, запросто, был – и нету. А тебе ещё жить да жить надо. И ты это знаешь. Ты так читаешь, с такой отдачей, рискованной, полнейшей, будто здесь же, прямо на месте, снова пишешь эти стихи. Столько сердца, столько души всегда в своё чтение вкладываешь! Относись ты к этому чуточку поспокойнее, потрезвее. А то вон за сердце держишься. Сейчас я тебе, дружище, валокординчика дам. Всё, всё, перестань волноваться. Гениальные это стихи. Молодец. Читай мне почаще. Всегда ко мне приходи. Вообще – всегда приходи, что бы там с тобой ни случилось. И просто так приходи, навесить, покалякать вместе. Понял? Ну, хорошо, хорошо. Помни, Вовка, я тебе друг. А сейчас успокойся. Мы рядом.

И я действительно позже успокоился, пусть и не сразу. Выпил валокордин послушно. Пришёл постепенно в себя.

А тогдашнее – и всегдашнее, верить хочется, отношение – Алёнино, доброе, светлое, душевное отношение ко мне – запомнил. Надолго. Навсегда. Благодарен я ей и теперь – за её человечность.

Может быть, допускаю, и скажут, хмыкнув, скривившись, некоторые прожжённые циники, эти, дошлые, из нынешних: много ли это? И отвечу я – всем: это – всё.

* * *

...Был то ли декабрь, морозный, со снегом, и днём, и ночью идущим, то ли февраль, – неужели февраль? – да вряд ли, – может, и не декабрь ещё, может, конец ноября, – во всяком случае, мне наконец-то выпала грустная возможность дрожать на ветру в осеннем лёгком пальто, выстаивать против ветра, дуящего вдоль улиц, горбиться у подворотен, видеть московские, жёлтые и оранжевые, окошки с яковлевскими цветами в вазонах и незнакомыми людьми в квартирном тепле, – словом, в течение трёх, всего-то, холодных дней узнать российскую зиму так близко и хорошо, что этого было достаточно.

Помню пустое Садовое кольцо во власти седой, неукротимой метели, – я откуда-то вышел, покинул комнату с полупогашенным светом, решил идти куда-то вперёд, пешком, – где я и что со мной, не знаю, уже не знаю, но иду, и меня заносит, на пути моём долгом, снегом, он то сыплется мелкой дробью, то летит сверху ровным, густейшим, застилающим всю округу, кругозор закрывающим слоем, и чутьём лишь одним я улавливаю на шоссе, в стороне, движение пробивающихся с трудом сквозь метель, вслепую, машин, и едва порой успеваю прикрывать рукою глаза, чтобы хоть что-нибудь видеть иногда в такой круговерти.

Был ампирный особнячок с деревянными, оштукатуренными, облупившимися колоннами, теремок, возможно, укромный, чей-то угол, приют, уют, чей-то взгляд в полутьме квартиры, чей-то вздох, сквозь век, о былом, – хлопья снега падали снова, ближе слов на губах замёрзших, ниже неба и выше почвы под ногами, дальше невольных мыслей о невозможном счастье, глубже строк стихотворных давних, и дома большие, сутулясь, еле сдерживали метель.

Мало ли что бывало со мною в такие месяцы! – согревало вино, приходилось часто курить, напрягать мышцы, чтобы не мёрзнуть.

Зато я почувствовал нечто – заснежённую, ледяную, ветром выстуженную холодным, в завихреньях метельных, Москву, – и увидел, как выдаются, в эллиотовском тусклом свете фонарей, (с которыми, с грустью и с любовью, живущими в дивных, незабвенных польских стихах, попрощаться решил Галчинский), фасады с глыбистой лепниной и глухие торцы окрестных, для меня закрытых, домов, и узнал, что пружинистый воздух у магазина «Чай», почти напротив безмолвного, кряжистого главпочтамта, и хрустящий, скользкий негаданно под моими подошвами снег пахнут кофеом свежемолотым и цейлонским рассыпчатым чаем, и нигде не видно милиции в такую собачью погоду, и лишь в переулках ухают шаги одиноких прохожих и собственные мои шаги, и метро мне кажется спасительным для меня убежищем, и кафе захудалое – тёплым укромом.

Чудовищный зимний город разворачивался тяжёлыми, неподъёмными, твёрдыми кольцами, распадался, нет, разрезался, расчленился на мелкие секторы, на едва различимые части, приседал, устало пошатывался от непомерной тяжести поистине заполярного, из периода ледникового заглянувшего, может быть, холода, пыхтел и кряхтел под снегом.

Я видел сам, как зима, появившись уже в ноябре на столичных стогнах, вздохнула с облегчением, наконец-то, убеждённая окончательно в том, что время её пришло.

Да, конечно же, это было ещё до Нового года.

Я ошибся, подумав, что это был мятежный давний февраль, – в феврале меня закружили совсем другие события.

Тогда же, на склоне года, не успев ещё пережить и осмыслить как следует щедрую на события и на встречи, уходящую в прошлое осень, мы рвались уже прямо в зиму, в холода её и снега, мы уже бежали к подъезду какого-нибудь из столичных гостеприимных домов, то хорошо знакомых, то ещё недостаточно, входили, нас уже ждали, в карманах – заолоделые бутылки вина, сигареты, на столе у хозяев – тоже бутылки да сигареты, свеча в старинном подсвечнике, зажжённая перед чтением стихов или прозы, картины, полумрак по углам, батареи отопления, тронешь – горячие, отогреться бы, отдышаться поскорее, – но просят читать – и читаешь, и люди слушают, люди слушают, понимая, что снега за окном – лишь присказка, ну а сказка – вот она, здесь.

Однажды нам некуда было идти, и нечего было выпить, и денег не было, и мороз нас просто замучал, – и Губанов тогда, по каким-то переулкам и закоулкам, повёл меня в гости к кому-то, в надежде там получить желаемое, то есть выпивку, а она ему, к сожалению, тогда непрерывно требовалась, хоть впрок никогда и не шла.

Сейчас я думаю, нет, просто предполагаю, что дом, куда мы тогда с Губановым направлялись, находился где-то, примерно, между Сретенкой и Мясницкой, в те дни ещё улицей Кирова, по-советски, а может быть, он был пониже, ближе к Солянке.

Во всяком случае, было так пусто и снежно в округе, и шли мы, замёрзнув, так быстро, и так неожиданно вдруг оказались уже перед старой, высоченной дверью квартиры на первом, со светом, тусклым и мигающим, этаже, что с ходу сообразить, где же мы, поконкретней, было тогда, насколько помню я, невозможно.

Лёня сразу, с разбегу, несколько раз позвонил.

Хозяин квартиры тут же открыл нам тяжёлую дверь.

Губанов ему представил меня, пошутив по-своему, наивно и грубовато, как молодого критика, и я был очень доволен – не придётся стихи читать – и незаметно, стараясь вести себя поделикатнее, делал другу знаки, чтоб он поскорее спросил о вине.

Никакого вина, конечно, в доме не оказалось, и я, слегка отогревшись после холода, заскучал.

Хозяин беседовал с нами спокойно и обстоятельно, и видно было, что это всегдашняя, отработанная годами, до мелочей, его манера общения.

Он достал из альбома пухлого и показал нам, бережно держа её длинными пальцами, фотографию Гумилёва: довольно рослый, слегка, вроде, косящий глазами, человек, ещё молодой, лет около тридцати, стройный, в военной форме, с Георгием на груди.

Выяснилось, что хозяин довольно часто бывает у вдовы Шенгели, что он, давно уже, дружит с нею.

Больше того, неожиданно, из разговора нашего, неспешного, так уж вышло, что же делать, о том да о сём, оказалось, что знает хозяин ученика Шенгели, эрудита Яшу Островского, поэта из Днепрпетровска, с которым был я знаком.

Из письменного стола достал он и показал нам фотографии своего кумира, Шенгели, в период, когда тот переводил Байрона и Гюго.

Переводя «Дон-Жуана» байроновского, Шенгели носил старомодный, просторный, шумящий складками плащ, отращивал длинные волосы, – то есть отчасти, насколько удавалось ему, переводчику, становящемуся актёром, в странноватом спектакле играющему, превращался, на время, в Байрона.

Переводя Гюго, Шенгели отращивал бороду, превращаясь уже во французского знаменитейшего поэта, и в доме вели беседы в стиле начала века девятнадцатого, поплотнее зашторив окна, закрыв гардинами тёмными двери, жгли вечерами свечи в серебряных старых подсвечниках, и звучала в стране советской, все устои бывлые разрушившей, заграничная чистая речь.

Так Шенгели вживался в мир переводимых им, с полнейшей отдачей, поэтов.

Мы немного поговорили о достоинствах переводов Шенгели, в сравнении с прочими скучноватых, а то и вовсе неудачных, так я считал.

Хозяин квартиры долго, вдохновляясь и трепеща, говорил нам о Гумилёве.

И становилось ясно, что поэзия и судьба расстрелянного чекистами замечательного поэта волнуют его сейчас больше всего остального.

Потом он этаким гордым жестом творца, подвижника, показал нам на книжный шкаф и сказал, повышая голос, в котором вдруг прозвучало колокольной, набатной медью, к самому себе уважение, с ощущением важности сделанного им самим, в тиши кабинетной, – вот, сколько вещей, смотрите повнимательнее, ребята, он уже успел написать.

И действительно, это надо же, вся нижняя полка шкафа была аккуратно уставлена, в один идеально ровный, длинный, парадный ряд, тридцатью, примерно, тетрадами общими, одинаковыми, толстыми, в плотных обложках.

Я спросил хозяина, можно ли посмотреть мне, хотя бы немного, для знакомства, его стихи.

И получил утвердительный, с гордым кивком головы, с жестом руки широким, приглашающим к счастью, ответ.

И тогда я открыл дверцу шкафа и достал, наугад, одну из общих толстых тетрадей.

Вся она, от корки до корки, была исписана чётким, чеканным хозяйским почерком.

Я начал читать. Стихи, как мне тогда показалось, были, увы, плохими.

Тогда я достал другую тетрадь. Полистал её. А потом и ещё одну.

И все они были исписаны, я увидел, от корки до корки.

Я решил, что хозяин квартиры – просто-напросто графоман.

Каллиграфическим почерком в просмотренных мною тетрадях переписаны были сотни безликих стихотворений.

А сколько же их ещё – там, в остальных тетрадях?

Я поставил тетради на место и закрыл поэтический шкаф.

Ничего не сказал. Молчал.

Хозяин держался уверенно.

Вот оно, братцы, высокое мнение о себе!

Не желал он спускаться с высот своих олимпийских – куда-то вниз, где, возможно, ждал, нежелательный для него, небожителя, видимо, разговор о его стихах.

Он даже не удосужился спросить меня, по-простому, понравились мне стихи его или, мало ли что, не понравились.

А может быть, делал вид, что это ему безразлично.

А может, гордыня сказывалась.

Всё могло быть, вполне.

Комната у него, небольшая, была одна, с простейшею обстановкой.

Письменный стол, книжный шкаф, несколько стульев, кровать.

За ширмой-перегородкой лежал в кроватке ребёнок.

И в этой-то аскетической, затворнической тесноте висели на блёклых стенах фотографии кое-какие, лежали стопками книги.

Вскоре пришла жена его, полная, неразговорчивая.

Она принялась хлопотать где-то вне поля зрения, но рядом, за книжным шкафом.

Втроём, незнамо зачем, через силу, поговорили мы, из вежливости взаимной просто, ещё немного.

И ушли восвояси, набравшись разнообразных сведений из истории нашей русской великой литературы.

Хозяин квартиры спокойно проводил нас. Мы с ним попрощались.

На вид ему дал бы я лет, наверное, тридцать пять.

Кто это был такой?

Совершенно сейчас не помню.

Может, просто московский фантом?

Кажется, мы договаривались навестить его, побеседовать обстоятельно и спокойно, – и, конечно же, больше к нему никогда мы не приходили.

Вина мы в тот вечер, нелепый, согласитесь, так и не выпили.

На улице нас поджидали зимние холода.

Куда я поехал потом ночевать? Да куда же мне было ехать, как не туда, где пристанище было моё!

К себе, на Автозаводскую, где лежала на утро буханка чёрного чёрствого хлеба, и в кастрюле ещё оставалась картошка застывшая мятая, которую я разбавлял, для мягкости, жидким чаем, где топорщились на подоконнике, упираясь в стекло, цветы, и можно было включить мой старенький, но работающий доселе приёмник «Москвич» с антенной самодельной, – музыка будет вроде бы отгорожена кругом оранжевым настольной лампы, окно будет синим таким, такой густоты, что стекла, померещится, вовсе не существует, можно даже руку туда протянуть, в холодину эту, прямо в снег, но рука не замёрзнет, потому что вокруг – тепло.

Да, я туда поеду, там уютно, там хорошо, там рукописи мои, разбросанные повсюду, и картинки мои, и краски, и много чудесных книг, и стопка бумаги чистой на столе, и машинка «Москва», – там стану я вновь, наверное, размышлять о чём-то своём, скорее всего хорошем, и можно будет, задумавшись о будущем, закурить, и взглянуть за окно, – там ночь.

Ночь в конце шестьдесят четвёртого.

Вот такая история грустная вспомнилась мне сегодня.

* * *

..Когда вечереет, и ты закуливаешь сигарету, поругивая себя, мысленно или вслух, за привычку вредную эту и в тысячный, нет, в миллионный, наверное, раз говоришь себе, что надо бы бросить курить, пора, ну сколько же можно, хватит уже, надоело, дым сплошной, впрямь какой-то смог в доме, – надо же, снова СМОГ, никуда от него не деться, о себе он всегда напомнит, кстати это или некстати, но придёт, что делать мне с ним? – и, тем не менее, ты закуливаешь, по привычке, щёлкаешь зажигалкой или подносишь спичку, резко и слишком близко, почти вплотную, к лицу – как щурятся в эту секунду глаза твои, утомлённые писанинами запоем, изо дня в день, месяцами, годами, десятилетиями, бессонницами твоими, хворобами всякими нынешними, и прочими, разнообразными, приметамы возрастными, а может, и не приметамы, деталями, компонентами, звеньями неразрывными нескладной, но и прекрасной, удивительной жизни твоей! Им жарко, твоим глазам. От зажжённого в тишине огонька, горячего пламени, кратковременного, на миг? Нет, жар этот – от извечного, без конца и краю, горения. Ни при чём здесь вообще курение. Это просто – рождение книг. И сколько раз так закуливаешь, думаешь ли о чём-нибудь или, может быть, ни о чём и не думаешь, так бывает, ненадолго, правда, чтоб вскорости размышлять о чём-то хорошем, или так, не очень приятном, но таком, что всё-таки было, никуда его не запрядешь, это было когда-то с тобой, в ту эпоху, где жили все мы, в ту эпоху, которой нет, отшумела, ушла, исчезла, потому и столько примет, компонентов, деталей, звеньев нам оставила, всё вокруг только звук, только взгляд усталый, только свет, магический круг, пьёшь свой чай с киммерийскими травами или, может, его не пьёшь, говоришь ли с кем-нибудь или же и не думаешь говорить, но закуливаешь по новой, – хорошо бы совсем не курить.

Вот я и расскажу вам ещё одну, любопытную и забавную, поучительную и печальную, таковы компоненты её, детали, звенья, может быть, и приметы, недомолвки её и секреты, смысл и строй музыкальный, – историю.

Нескончаемой осенью шестьдесят четвёртого года, когда число узнаваемых впервые столичных людей интересных всё возрастало, мы с Губановым, взяв с собою и товарища своего, так считалось тогда, напросившегося с нами вместе пойти Кублановского, шли к подпольному, авангардному, затираемому властями, почему-то не разрешающими, с дичайшей категоричностью, исполнять его музыкальные сочинения, композитору фантастическому, говорили в кулуарах, Вадиму Столяру, смотреть его знаменитую, прославленную по всей Москве, по всему Союзу, коллекцию современных, авангардных, само собою, как и музыка запрещённая, подпольная, сложная, столяровская, как и наши стихи тогдашние, замечательных, люди считали, удивительных просто, картин.

Долго мы там засиживаться вовсе не собирались, уже заранее зная, что композитор Столяр – человек, между прочим, больной, то есть мозги у него, как тогда говорили, задвинутые, и вообще он, Столяр, как утверждали в богемной среде, человек с приветом, ещё и с большим приветом, а посему не любит никакого лишнего шума, ненужных и бесполезных для него, творца, разговоров, предпочитая всему этому безобразию грубому, больно ранящему душу его, тишину, волю, а с ней и покой.

(Тут я забегу вперёд и расскажу, пожалуй, две коротенькие истории про Столяра, человека, прямо скажем, неординарного, которые я узнал от знакомых, уже впоследствии.

Вначале – история первая.

Однажды Столяр присутствовал в презираемом им в Союзе композиторов на каком-то, плановом или внеплановом, очередном, наверное, поди-ка в них разберись, если много их, даже слишком, с перебором больших, подобных, если все на одно лицо, на один манер, так точнее, и скучны до жути, ну просто хоть кричи, хоть вой, всё равно, все банальны, все одинаковы, да и нынешнее, наверно, вряд ли лучше прочих, подобных, прослушивании, кого-то, а кого – не имеет значения, или, может, имеет значение, для кого-то, но не для него.

Человек воспитанный, кроткий, деликатный, интеллигентный, поначалу он просто терпел.

Морщился, но держался.

Вскоре его терпение стало трещать по швам и даже, мало-помалу, постепенно, явственно лопаться.

Но Столяр, подобно стойкам древним, вернее – мученикам всех времён и народов, подобно рыцарям чести, без страха и без упрёка, всё равно, с достоинством редкостным, терпеливо, смиренно держался.

Держался – на сверхтерпении. На пределе уже, на грани возможностей, небеспредельных. Волю, как мог, проявлял.

Исполняемая старательно, слишком правильно, по-советски, по-партийному образцово, без сучка, без задоринки, музыка ему всё менее нравилась.

Однако он, композитор, официально не признанный доселе, но, все говорили, талантливый, даже очень, а что ещё надо в жизни человеку сугубо творческому, как не признания общего подлинных знатоков, понимающих, что почём, разбирающихся, что к чему, лучше всяких официальных начальников и чиновников знающих толк в современной, вне привычных канонов, музыке, всё ещё, вот что действительно удивительно, даже очень, вот что невероятно, вы представьте, сидел на месте.

Наконец так тошно ему стало, ну просто не выразить никакими словами этого грустного, неужели безысходного, состояния, от всего, что творилось вокруг, от всего совершенно, от этого то ли сборища, то ли действия, то ли подлости и злодейства, – и от музыки, категорически не приемлемой им, помилуйте, ну какая же это музыка, так, брэнчанье, звуков набор, три аккорда, почти гитарные, два акцента, басы кошмарные, не полёт, а рыночный спор, и от всеобщего, пристального, непонятого для него, интереса вот к этой самой псевдомузыке скучной в зале, и от собственного терпения, да ещё и от сверхтерпения, и от слишком уж затянувшегося проявления воли своей, что он в итоге не выдержал. Он встал, как ни в чём не бывало, со своего неуютного места и отошёл, не куда-нибудь, не в сторонку, нет, сторонка здесь не годилась, надо было, без промедленья, тут же, действовать, радикально, чем решительнее, тем лучше, – отошёл напрямик в угол.

Здесь же, в углу, он встал, с гимнастической ловкостью, на голову.

Да так и остался стоять, головой авангардной вниз, ногами простецкими вверх.

Сначала никто вокруг не обращал на него никакого, ну что за оказия, что за дикость такая, внимания.

Его просто-напросто все почему-то не замечали, да и только. В упор не видели.

Столяр, звезда авангарда, твёрдо решив не сдаваться, тем не менее, преспокойно стоял себе на голове.

Постепенно, с большим запозданием, его, человека-йога, диссидента и протестанта, люди начали замечать.

Всё больше голов поворачивалось в зале – в сторону Столяра. Некоторые особенно любопытные даже начали приподниматься рывками со своих насиженных мест, чтобы как можно лучше рассмотреть, что же там такое, в углу, говорят, происходит.

Некоторые чрезмерно сердобольные, добрые дамы высказывали догадки, что, может быть, человеку, в углу стоящему, плохо, что ему немедленно требуется помощь, и даже срочная, медицинская, видимо, помощь, прямо сейчас, немедленно.

Некоторые сердитые граждане, горячась, обзывали его хулиганом.

Столяр слышал всё это продолжал стоять в углу своём, на голове.

И вот уже музыканты, играющие на сцене, принялись, один за другим, любопытствуя, приподниматься и смотреть изумлённо в угол, где стоял, к потолку ногами, упираясь в пол головой, перевёрнутым столпником, Столяр.

И вот уже некий скрипач, исполняющий сложный пассаж, не удержавшись, вытянул шею, да подлиннее, чтоб разглядеть получше субъекта, действительно странного, стоявшего на голове в темноватом дальнем углу, и скрипка негаданно выскользнула у него, зеваки невольного, из-под выбритого с утра, полноватого подбородка, и смычок, мгновенно скользя кривовато и вкось по струнам, из инструмента извлёк непотребный какой-то визг, вместо желанного звука, и на сцене все рассмеялись.

И вот уже вокруг Столяра зароилась и собралась внушительная толпа обеспокоенных граждан:

– Что с ним?

– Кто он? Откуда?

– Почему во время концерта стоит он на голове?

– Как дошёл он до жизни такой?

Все, решительно все обратили на него – наконец-то! – внимание.

И он своего добился.

Прослушивание, нарушенное Столяром, прекратилось.

И тогда он медленно встал с головы утомлённой на ноги – и, торжествуя, с видом победителя, шагом размеренным шествуя вдоль рядов кресел к двери, (открытой предусмотрительно) в шоке пребывающей администрацией, невозмутимо, с достоинством, спокойно покинул зал.

Вслед за ней – вторая история.

Однажды Столяр сидел в зале консерватории на концерте. Не Бог весть какой был концерт, но всё же приемлемый.

Сидел, как все люди вокруг, спокойно. Музыка слушал.

И всё бы тихо да мирно сладилось, и ничего бы не было необычайного, всё бы, глядишь, и минуло, всё бы и обошлось, да была здесь одна загвоздка.

Музыка-то была хорошая. Точно. И слушать бы её да слушать, с немалым, что приятно всегда, удовольствием и с пользой для себя.

Но всё время, увы, раздражала внимавшего музыке Столяра идиотская, да и только, безобразная просто лысина сидевшего впереди него нарядного толстяка.

Все лысины, вроде, как лысины, а эта – нет, не такая, как у всех, не такая, и точка.

Во-первых, большая. Больше, чем у Ленина, у вождя мирового пролетариата. Больше, чем у всех вместе взятых старых членов политбюро.

Во-вторых, какая-то пегая, вся в нездоровых пятнах.

В-третьих, шишка на ней, под кожей, здоровенная, с половину боксёрского кулака.

В-четвёртых, потная слишком, и воняет ведь от неё просто невыносимо.

И в-пятых, зеркальная, ишь ты, ну прямо как отшлифованная, и все огни отражаются в ней, как в кривом зеркале, и люстра вся отражается, и потолок, и портреты композиторов, сплошь великих, и все оптом зрители в зале, и вот это уж, согласитесь, просто невыносимо.

Куда же это годится, если такая лысина от музыки отвлекает слушателя, а потом и задуматься заставляет, о многом, о чём угодно, и прежде всего, поймите и согласитесь, о том, что бывают ведь, вы подумайте, такие на свете лысины.

Вредная лысина. Подлая.

Враждебная лысина. Злостная.

Нехорошая лысина. Гадкая.

И с ней как-то надо бороться.

Столяр терпел, терпел, – но вот его прорвало.

Как сказали бы вы сейчас, достала его чужая, возмутительно глупая лысина.

Спокойно и просто, как в старом, знаменитом цыганском романсе, поднялся тогда композитор авангардный, Вадим Столяр, со своего места.

Выломал спинку переднего кресла, того, на котором сидел, ничего не ведая, нарядный лысый толстяк.

Поднял Столяр запросто выломанную спинку кресла над удалой своей головой авангардной – и с силой, так, что грохот прошёл по залу, отозвавшись эхом поодаль, с удовольствием явным шарахнул толстяка по противной лысине.

Спинка кресла вмиг разлетелась на бесчисленные куски.

Лысина отвратительная никаких, почему-то, трещин, даже крохотных, не дала.

Но зато ничего не успевший сообразить, застигнутый врасплох, в боевом наскоке, и никаких защитных мер, само собой, не принявший, потный нарядный толстяк рухнул с грохотом вниз.

И отключился. Надолго.

Все в зале оцепенели.

Никто не сдвинулся с места.

Столяр же преспокойно направился прямо к двери.

Никто его не задерживал.

У двери он оглянулся и учтиво сказал музыкантам:

– Продолжайте играть, пожалуйста!

И, как ни в чём не бывало, исчез, легко и бесшумно, за распахнутой дверью, в фойе.

Когда не все, разумеется, лишь некоторые, отважные, из партийцев, энтузиасты, выйдя из оцепенелого состояния, скопом бросились вслед за ним, ушедшим, в погоню, то ни в пустом фойе, ни в раздевалке, нигде, никого они не нашли.

Вроде и не было – так ли? – дерзновенного возмутителя общественного спокойствия.

Только лёгкий, как сон, ветерок, странноватый здесь, в консерватории, прошёл, промелькнул, промчался, прошелестел мимо них, шумных энтузиастов, – да и затих поодаль.

Что это было? – Дух? Призрак? – Да кто его знает!..

Вот какие бывали когда-то, в дни минувшие, отшумевшие золотистой листвой, но сумевшие, где-то в памяти продремав несколько десятилетий, вспомниться, чтоб остаться в книге моей, истории.

Вот какая была эпоха.

Полустраха и полувздоха.

Полусмеха и полуплача.

Гостья редкая в ней – удача.

Горький привкус в ней, красный колер...

Вот какой человек Столяр.)

Я знал, что он получает пенсию, по болезни, по шизофрении, но, в общем, относительно тих, спокоен.

Всем ведомо было давно, что есть у него прекрасная коллекция, из наилучших в Москве, современных картин.

И кого же там только не было из наших неофициальных, но известных в богеме, художников!

И прежде всего, конечно, – Ворошилов, Яковлев, Зверев, Пятницкий, Краснопевцев, Курочкин, Афанасьев.

И ещё – понемногу – многие.

Как сумел непрактичный Столяр собрать такую коллекцию – оставалось для всех загадкой.

Однако же – взял да сумел.

С некоторыми художниками он дружил, и они порой охотно, без просьб излишних, отдавали ему работы, просто так, без всяких там денег, неуместных и невозможных, по причине отсутствия их у художников и собирателя, подвижника, между прочим, обладавшего редким чутьём на искусство, чтоб находились работы эти отменные у него, хранителя их, чтобы люди, туда приходящие, получили возможность реальную видеть, когда им захочется, эти произведения.

И люди, любители живописи, новейшей, свежайшей, к Столяру действительно приходили, причём охотнейшим образом, если такая возможность хоть изредка предоставлялась, если Столяр звал их к себе, и там, в квартире-музее, знакомились обстоятельно с дорогим их сердцам искусством.

Вот и мы втроём с удовольствием наконец-то впервые знакомимся со столяровской коллекцией.

Ворошилов был здесь периода раннего, в основном портреты его и пейзажи, ещё несколько романтические, но в них уже назревало удивительное обобщение, в некоторых вещах угадывалась уже та его великолепная полифония, которая впоследствии столь широко и мощно столь прозвучит в сериях темпер второй половины шестидесятых и крупных, волшебных работах семидесятых годов.

Яковлев был, разумеется, тоже чудесен – привычные для него гуаши – цветы, неизъяснимо прекрасные, по-детски наивные, чистые, не по-взрослому, а по-космически, не скажешь иначе, трагические, но были ещё и портреты, женские и мужские, натюрморты, пейзажи, абстракции.

Замечательным оказался Пятницкий, графика, смелая, сильная, одновременно страшно-ватая и ясновидческая, и живопись, не такая уж обильная у него, а здесь были холсты, да какие!

Хорош был и Краснопевцев – его натюрморты, камерные, спокойные, тихо живущие в мире своём, в себе.

И Зверев был здесь отменным – виртуознейшие, раскованные, свободные, дальше уж некуда, звонкие акварели!

Да и вещи прочих художников оказались весьма интересными.

Поразила меня и дивная икона, причём на клеёнке, украинская, привезённая кем-то из глухоманного, толком ещё не изведенного до сей поры, Закарпатья.

Композитор Столяр, герой всей богеме известных легенд, оказался ещё молодым человеком, среднего роста, чуть пониже, пожалуй, с короткой стрижкой, темноволосым, в очках тяжёлых, с большими диоптриями, с лицом серовато-бледным, болезненно-одутловатым, как и у всех, мне известных, с виду-то, вроде, нормальных, но нервно-больных людей.

Был он тих и приветлив с нами.

Жил композитор в квартире угловой, в полубашенке дома, расположенного в одном из нескольких переулков близ Никитских ворот.

Найти этот дом странноватый, побывав здесь хотя бы однажды, было довольно просто.

(В середине семидесятых в доме, стоящем как-то наискосок от столяровского, в этом же переулке, неожиданно поселился перебраться решивший в Москву из родного, быстро пустеющего, по причине отъездов сплошных всех богемных друзей, в эмиграцию, и, пореже, в столицу, печального, беспросветного, в общем-то, Питера, Алексей Хвостенко, художник авангардный, поэт известный, автор и исполнитель известных, широко и давно, в богемных и каких-то прочих кругах, по-своему замечательных, выразительных, ярких песен – таких, например, как «Над небом золотым есть город золотой...», (впоследствии беспардонно присвоенной Гребенщиковым, причём на пластинках вышедших и кассетах всем сообщалось, что слова у песни народные, чем Лёша очень гордился, ну а музыка – старая, лютневая), «Хочу лежать с любимой рядом...», «Арландина», «Завтра потоп», «Милая моя...» и прочих.

Замечательный парень, красавец, похлеще Алена Делона, душа компаний, которого звали все просто Хвост, Лёша стал здесь жить со своей новой женой, Алисой.

Он потом перебрался в Париж, но вначале, в семидесятых, ему позарез нужна была, прежде всего, Москва.

Была квартира столичная коммунальной, густо весьма населённой. У Лёши была в ней комната, дверь в которую сроду не запиралась.

В комнате, на полу, стояли простые полки с очень хорошей коллекцией пластинок, довольно редких, в основном классической музыки.

Висели на стенах картины. Было некоторое количество хаотически собранных книг. Гитара любимая Лёшина приют обрела в уголке. Занимала пространство изрядное широкая, низкая, старая, продавленная тахта.

Иногда, от случая к случаю, обычно под настроение, заходил я к Лёше – погреться, повидаться, поговорить.

Однажды, в семидесятых, бездомничая, намаявшись, зашёл я сюда, чтобы просто хоть немного здесь отдышаться, успокоиться, пусть ненадолго, и, возможно, воспрянуть душой.

Хвоста – соседи сказали – дома давно уже не было.

Поскольку дверь, это знал я, всегда держалась открытой, зашёл я в хвостовскую комнату и стал терпеливо в ней ждать загулявших где-то хозяев.

Ждал, ждал. Никого, ни Хвоста, ни Алисы хвостовской, всё не было.

Донельзя усталый, я прилёг на тахту с краешку и незаметно уснул.

Разбудил меня заглянувший к Хвосту по дороге домой, на Арбат свой любимый, Лёша Паустовский. Без лишних слов он достал две бутылки портвейна и предложил мне с ним выпить.

Мы выпили, каждый – из горлышка, дешёвый этот портвейн.

Поговорили немного.

Лёша начал курить анашу.

Я курил свою крепкую «Приму».

Вечерело. Я понимал, что пора мне уже уходить.

Попрощались. И я – ушёл.

А куда – вам не всё равно ли?

Разбираться не надо в боли.

Путь был – долог, и век – тяжёл...

Паустовский Лёша был молод. И талантлив, по-настоящему.

Сын Константина Георгиевича Паустовского, с детских лет ещё в Тарусе, где у писателя был дом, он общался с нашими художниками, тогда хорошо в богеме известными, – Штейнбергами, в ту пору обитавшими тоже в Тарусе, с постоянно туда приезжавшими Плавинским, Зверевым, Вулохом, Воробьёвым и прочими звёздами тогдашними, крепко пьющими, но талантливыми людьми.

Насмотревшись на всю эту странную, колоритную, пёструю публику, Лёша и сам, наивно и страстно, художником стать с детства мечтал. И стал им.

Он – трудился. Он – совершенствовался.

Работы его со временем становились всё более сильными.

Он уже выставлялся, его заметили, оценили.

Крепкий с виду, очкастый, усатый, отзывчивый, добрый парень, с украинской и польской кровью, как-никак – потомок прямой гетмана Сагайдачного, славного предводителя вольницы запорожской, он верен был дружбам своим и прекрасно ладил с людьми.

Одна была только досада, нет, просто беда: наркотики.

Но, может быть, он ещё не был, в силу возраста своего молодого, разрушен ими.

И, вполне вероятно, сумел бы с этим злом навсегда завязать.

И вот однажды, напившись вусмерть вместе с Алисой, миловидной хвостовской женой, решил почему-то Лёша Паустовский свести счёты с жизнью.

И Алиса, будучи пьяной, тоже выразила желание составить ему компанию. Наверно, из солидарности.

Нажрались они оба каких-то колёс, убойных таблеток.

И легли на тахту единственную, вместе, рядышком, помирать.

Лежали, долго лежали.

Конца со смирением ждали.

И таблетки убойные всё-таки со временем начали действовать.

В замедленном темпе, но верно, с неизбежностью ошеломительной, уплывал Паустовский Лёша вместе с Алисой, хвостовской кайфовой женой, в никуда.

И тогда, совершенно случайно, заглянул в открытую дверь коммунальной хвостовской комнаты кто-то из любопытных соседей, или кто-то из многочисленных приятелей по выпивонам, или кто-то из верных друзей.

Бросились к телефону.

Вызвали сразу врачей.

Алису хвостовскую – чудом, но всё-таки откачали.
Успели спасти. Жива.
Лёша же Паустовский – умер. Не откачали.
Не успели его спасти. Не смогли. Алкоголь да колёса...
Слишком доза была велика.
И остались – печаль да тоска.
Жаль его. Славный был парень.
Многое мог бы сделать в искусстве, стать крупным художником.
Но что же теперь об этом, грустя о былом, говорить!..)

А название у переулка, где заглохнуть могла прогулка, было – холодом жутковатым, снегом сбивчивым ноздреватым, чем-то призрачно-замогильным, что ли, слишком уж изобильным в наважденьях своих, наглеющим, чушью, нечистью, может, веющим, леденящей пустотой, твердотелую мерзлотой, всякой нежитью, тьмой бесовской, мглой болотного, – Мерзляковский.

Вернусь, однако же, к Столяру.

Мы, судя по чуть заторможенной, но хорошей его реакции на присутствие наше в квартире, на добрые наши слова, обо всё понемногу, но с толком, в том числе и о нём самом, ему, похоже, понравились.

Вели мы себя пристойно.
По достоинству, как и следует, оценили его коллекцию.
К тому же мы были поэтами.
А Столяр любил поэзию. И даже слышал уже стихи – и мои, и губановские.
Он, помедлив слегка, пригласил нас навестить его как-нибудь снова.
Как уж сложится. Под настроение.
В день любой. Когда захотим.
И лучше всего – поскорее.
Мы, конечно, пообещали, что придём к нему вскоре вновь.

И пришли мы к нему. С вином.

Хотя и прекрасно знали, что Столяр совсем не пьёт.
И опять почему-то с нами напросился прийти Кублановский.
Мы открыли бутылки, выпили, понемногу, по кругу, вина.
И Столяр, что удивительно, тоже выпил с нами немного.
И пришёл неожиданно в хорошее расположение духа.
Тогда мы, переглянувшись, попросили его сыграть нам что-нибудь своё, авангардное, что угодно, что пожелает, – и он согласился, надо же, исполнить свои сочинения.

Чуть ли не всю, не из маленьких, довольно просторную комнату, в которой мы находились, занимал огромный, сверкающий лаком, стоящий мамонтом или же динозавром на своих ногах исполинских, чёрный концертный рояль.

Стены комнаты были густо, без малейших признаков стройной, во всех деталях старательно продуманной экспозиции, вплотную, одна к одной, рядами неровными, ярусами, увешаны, или украшены, замечательными картинами.

Картины – холсты, картоны – стояли везде на полу, вдоль стен и, само собою, по углам, вертикально поставленные и лежащие горизонтально, плашмя, высокими стопками, внушительными шеренгами, целыми штабелями.

Рядом с ними лежали, пылясь, и стояли, подобно колоннам, античным или ампирическим, свёрнутые в рулоны бесчисленные работы, написанные на бумаге.

Больше в комнате ничего, ничегошеньки просто, не было.

Никакой совершенно мебели.

Ни шкафов, ни стола, ни единого, пусть и шаткого, старого, стула.

Кроме одной-единственной, круглой, чёрной, вращающейся, поднимающейся, опускающейся, вверх ли, вниз ли, как пожелает человек, владеющий ею, с ней умеющий обращаться, с ней ладящий, табуретки, стоявшей перед роялем.

Кое-как мы втроем устроились, примостились, как получилось, на полу паркетном. Настроились авангардную музыку слушать.

Авангардную! Не банальную.

Очень может быть – эпохальную.

Современную. Вне канонов.

Нет нигде для неё законов.

Нет указов. И рамок нет.

Есть – звучанье. И – в окнах свет.

Столяр легко пододвинул единственную свою круглую табуретку, вначале к себе, а потом от себя, поближе к роялю. Привычным, точным движением открыл глуховато скрипнувшую, обнажившую клавиши, крышку.

Взмахнул, широко, свободно, словно крыльями, сразу обеими, вдруг обретшими лёгкость и гибкость удивительную, руками.

Опустил их на клавиатуру.

И тогда уже – заиграл.

Играл он действительно здорово.

Он так досконально знал сложный свой инструмент, что тот, ну впрямь как живой, в любую секунду слушался его, и даже, казалось мне, с нескрываемым удовольствием.

Столяр сыграл, для начала, несколько небольших, броских, весьма виртуозных, элегантных, эффектных вещиц, – просто так, чтоб слегка поразмяться.

А потом – заиграл он свою знаменитую встарь симфонию.

Это было серьёзное, крупное, многоплановое, многотемное, многосмысленное сочинение о том, как в далёкой Венеции женщины местные, – где-то в лагуне или в канале, по которому проплывают разукрашенные гондолы, или, может, в тазах, и в корытах, и в лоханях, как полагается, им виднее, венецианкам, прачкам, дамам из высшего света, или, может, простым горожанкам, распеваящим звонкие песни под лазурным, чистейшим небом, на приволье, меж стен дворцовых, площадей с голубями воркующими, приоткрытых дверей, распахнутых прямо в лето блаженное окон, белых чаек, лукавых глаз, голосов, поцелуев, объятий, карнавалов, интриг, свиданий, о желанном счастье гаданий в тишине, – полощут бельё.

Столяр – я это видел – испытывал, исполняя своё любимое детище, симфонию эту, прилив настоящего вдохновения.

Круглая голова его то и дело вздымалась кверху, опускалась вниз, и опять поднималась, всё выше и выше, и вращалась вокруг оси, и покачивалась, как маятник.

Очки его запотели. Из-под стёкол рвались на волю, вдаль, вперёд, в глубину пространства, им увиденного теперь самым верным, внутренним зрением, повлажневшие, словно выросшие, как сверкающие шары, переполненные энергией, неизвестной, но властной, глаза.

Руки его, по-птичьи, быстро, летали над клавишами.

Из нутра инструмента, звучащего непривычно для нас, вырывались хаотические рулады, бормотание, взрывы смеха, крики чьи-то, неведомо чьи, отголоски рыданий, отзвуки мелодий, напоминающих итальянские, чистых, певучих, летучих, потом раздавался рёв, который сменялся стонами, которые, в свою очередь, сменялись неясными всхлипами, потом из рояля вдруг доносился к нам шум дождя, монотонный, влажный, протяжный, потом – раскатистый шелест молодой зелёной листвы, и плескалась вода – наверное, в каналах венецианских, и высыпались откуда-то мелкие острые гвоздики стаккато, и корабельными сиренами в белом тумане гудели басовые струны, и серебряными колокольчиками с ними перекликались высокие, выше возможных и невозможных выше, тоненькие, расколотые на лунные дольки, тона.

Потом принялся извлекать он из инструмента послушные удивительнейшие, чистейшие, небесные, видимо, звуки, и мелодии полились, чередой, одна за другой, перепутались, перемешались, и уже пошли вариации, потом всё это негаданно куда-то пропало, схлынуло, и только отдельные темы, вырываясь из ниоткуда, из глубины венецианских, патрицианских окон, а может быть, и зеркал, если не из Зазеркалья, напоминали, случалось, о себе, мимоходом, и снова таяли, как в тумане.

Потом скользкие, реющие, Адриатикой праздничной веющие, вспоминать о былом умеющие и в грядущем совсем не стареющие, чёрно-белые, быстрые, шальные, вместе с мистикой обветшалою всех видений вдали, всех грёз, всех, с шипами своими, роз, исчезая и возникая, белой пеной вблизи сверкая на волнах черноморских, клавиши под его упорными пальцами то съезжались, то разъезжались, как гондолы в узком канале, потом они горбились, вздыбливались, роптали, ворчали, бурлили.

Одной, привычной для всех музыкантов, клавиатуры Столяру было мало.

Он принялся тогда играть на крышке рояля, поднятой наискосок, вверх, чёрным, плавно изогнутым, к полёту готовым крылом.

Он выстукивал, проходясь по её поверхности гладкой плотно сжатыми кулаками, все возможные, вперемешку, европейские, азиатские, африканские, американские, и какие-то, на ходу сочинённые, новые ритмы.

Он разжимал кулаки – и принимался стучать по крышке рояля пальцами.

Крышка, слушаясь и повинуюсь, отзывалась весьма подозрительными, неизвестными ранее, сложными, деревянными, вроде бы, но посвежее, лесными, кустистыми, с долгим гулом в углах, ветвистыми, вибрирующими, гуляющими в массиве дуплистом, звуками.

Потом композитор Столяр перешёл, спокойно и просто, по наитию, видимо, к струнам внутри своего рояля.

Он щипал их, щипал, точно так же, как хозяйки перья ошпыивают у ошпаренной только что курицы.

Он дышал на них, потихоньку, и дул на них, сильно, как будто футбольный мяч надувал, – и струны ему откликались.

Он едва прикасался к ним.

Царапал их с маху ногтями.

Скользил по ним нежно ладонями.

И струны всё время – звучали.

Дисгармония почему-то смешивалась с гармонией.

Струны выли и рокотали, то роптали, то хохотали, то постанывали, то ныли, то вздыхали, то говорили, струны вскрикивали и пели, струны мчались к неясной цели.

Столяр начал уже играть на боках своего рояля.

Колотил по ним кулаками – и прислушивался к тому, как загадочно, после грохота, разносилось по комнате громкое, прямо гром среди ясного неба, да и только, дрожащее эхо.

Он прыгал на эти бока, с разгону, с разбега, с разлёта, и вкрадчиво, по-кошачьи, на цыпочках к ним подбирался.

Порою он даже плыл в пространстве комнаты, рядом с роялем, словно с огромным чёрным спасательным кругом.

Налетит на рояль, поскребёт его десятью ногтями по гладким, ко всему привычным бокам – и прислушивается к чему-то.

Потрогает пальцем – и слушает.

Долбанёт кулаком – и слушает.

Наконец, и рояля Столяру стало, так рассудил он, мало.

Симфония знаменитая расплёскивалась ручьями, растекалась бурными реками, расходилась кругами по комнате, вырывалась легко за окошко, разливалась по Мерзляковскому переулку, рвалась к бульварам, проникала в метро, в троллейбусы, в проводах телеграфных слышалась, уходила к Москве-реке, вдоль кремлёвских стен разбегалась, чтобы выбежать в Подмоскovie, а потом и дальше, на запад, к италийским пределам, к Венеции, возвращалась, как бумеранг, прямо в руки серьёзному Столяру, западала в память, в рояль уходила, опять выходила из рояля, вращалась волчком, поперёк становилась, торчком, рассыпалась, потом собиралась воедино, звучала, старалась быть самой собой везде, к путеводной летела звезде, к утомлённому солнцу тянулась, на кого-то вдали обернулась, на кого-то взглянула в упор, прекратила какой-то спор, поддержала какие-то речи, вмиг условилась с кем-то о встрече, улыбнулась, куда-то ушла, только два прошумели крыла наверху, возвратилась опять, стала громче, мощнее звучать, симфония знаменитая ширилась, разрасталась.

Композитору Столяру требовалось новое, наинovelейшее, уникальное, эпохальное, просто аховое звучание.

Взгляд его, из-под бровей насупленных, из-под очков запотевших, на волю вырвался, поблуждал по углам – и скользнул по батарее, гармошку отчасти напоминающей растянутую, отопления.

И тут же, забыв о рояле, Столяр перебежал, поскорее, вприпрыжку, к ней.

Вначале он просто немножко поводит десятью ногтями по металлической, крашенной когда-то давно и поэтому облупленной, неприглядной с виду, старой, унылой, сиротливой какой-то гармошке батареи, туда-сюда.

Потом, для всех неожиданно, двинул её ногой.

Батарея вмиг зазвучала.

Пошатнулась даже, слегка.

Тогда композитор Столяр атаковал её обоими кулаками.

Потом, без пауз, без всяких, излишних сейчас, церемоний, стал колотить по ней рёбрами жёстких ладоней, будто массаж ей делал.

Потом стал её поглаживать. Нежно, задумчиво, медленно.

Раздавались разные звуки.

Не вполне музыкальные, в общем-то.

Пусть и так. Да всё-таки – звуки.

Столяра, между тем, вновь потянуло к роялю.

Он подошёл к нему смело, по-морскому, по-капитански, словно к яхте своей, стоящей у причала, в южном порту, давно готовой к отплытию в чужие, знойные страны.

Крышка рояля казалась поднятым на высокую, крепкую, гибкую, стройную мачту воображения, тугим от ветра попутного, полотнищем всем натянутым плещущимся в лазурном, безоблачном небе, парусом.

В путь! Но куда же плыть?

Вперёд! В моря, в океаны.

В штормы, тайфуны, туманы.

Музыке в мире – быть!

Музыке в мире – жить.

Звучать. Побеждать – повсюду.

Музыка – счастье. Чудо.

Надо нам с ней – дружить.

Музыка стала действительно гармоничней. В ней море шумело. В ней уже ничего не гремело. В ней возник лирический тон.

Музыка стала тише. За крыши ушла, и выше. Вернулась – и спряталась в ниши. До лучших, наверно, времён.

Придёт ли сюда – потом?

Пришла. Заполнила дом.

Но вот композитор Столяр увидел какую-то странную, на полу, под роялем, штуковину, довольно тяжёлую с виду, и решительно поднял её.

Подкинул её в ладони – сколько, мол, весит? – ага, прекрасно, вполне годится! – и сразу пустил её в дело.

Штуковина эта была – тяжёлой. Была – металлической.

От ударов ею, штуквиной металлической, по роялю – бедный, многострадальный, вконец измученный Столяром, терпеливый, но не настолько же, чтобы вечно терпеть и страдать ни за что, ни про что, инструмент – запричитал, застонал.

Кублановский слушал игру вдохновенного Столяра, став неподвижным, немым изваянием, став сплошным, бесконечным вниманием, с устремлённым на композитора, поэтическим, жарким взором, с длинным, грустным, фамильным носом, вроде компасной стрелки, нацеленным на такое-то диво, на действие грандиозное, на откровение натуральное, без булды, это факт, и ёжику ясно, а ему и подавно, слушал увлечённо, с открытым ртом.

Как открыл он рот изумлённо, ещё в самом начале симфонии, так и сидел на полу истуканом, с разинутым ртом.

По нему видно было, насколько глубоко его поразило им услышанное впервые авангардное сочинение.

А может быть, думал поэт: вот, надо же, как бывает, наконец-то присутствует он, москвич новоявленный, бывший рыбинский провинциал, из хорошей семьи, мечтательный, одарённый, при исполнении новой, сверхсовременной, сверхавангардной музыки, да ещё и с таким комфортом, ну и ну, в домашних условиях, и композитор, смотрите-ка, так старается, прямо весь выкладывается, играя сложнейшие вещи свои, и вообще, кто бы мог подумать, это событие, и надо, надо ловить каждый, буквально, миг, потому что музыка эта, вполне ведь возможно, в грядущем благотворно может сказаться на его, набирающем силу и крепчающем, собственном творчестве.

Куб сидел с широко, по-рыбински, по-простецки, открытым ртом – и благоговейно слушал непривычную музыку Столяра.

Следует прямо сказать, что непорядок этот, а конкретно – открытый Кубов, нет, разинутый Кубов рот, Столяр давно заприметил.

И рот этот постепенно стал его раздражать.

Вначале он честно терпел: ведь всё-таки гость, молодой поэт, как-никак, бывает и так, и этак, по-всякому.

Но рот, однажды открытый Кубом, гостем его, никак ведь не закрывался.

Скажите, ну кто это вытерпит?

И Столяр тогда – не выдержал.

Он принял нужные меры.

Продолжая играть своей левой рукой на басовых клавишах, свою сильную правую руку, с крепко зажатой в ней, весьма и весьма тяжёлой, железной странной штуковиной, Столяр поднял, для всех неожиданно, как-то вмиг, высоко вверх.

Потом он цепко, по-снайперски примерился, зорко поглядывая на сидевшего там, на полу, с разинутым ртом, Кублановского.

И – с высоты немалой, со всего размаха, шарахнул Куба железной, тяжёлой штуковиной по башке!

Раздался резкий и гулкий, с треском, сильный такой, что стёкла оконные вздрогнули, звук характерный: бум-с!

Рот у Куба мгновенно захлопнулся.

Ну прямо как на замок защёлкнулся. Плотно. Наглухо.

Причём, обратите внимание, сам Куб, внимающий музыке, даже не пошевелился.

Как сидел себе на полу столбиком, подогнув ногу одну под себя, так и остался сидеть.

Поэт молодой подумал, видимо: так и надо!

Вот она, современная, авангардная музыка – в действии!

Вот она, импровизация!

Эх, слышали бы такое хоть разочек на родине, в Рыбинске!

То-то надолго хватило бы об этом потом разговоров!

Мы с Губановым, кстати, восприняли столяровскую выходку тоже как нечто нужное, само собой разумеемое.

Правда, уж очень смешно было нам всё это видеть.

Лёня даже не удержался, прыснул, было, но, тут же заметив боковой укоризненный взгляд композитора из-под запотевших, огоньком блеснувших очков, спохватился, взял себя в руки.

Окрылённый рождённым им здесь, на месте, в самом процессе исполнения, то есть в движении, как и следовало, в самом ритме вещи, непредсказуемом, допускающим вариации и фантазии разнообразные, лишь бы к теме вернуться плавно и опять её разветвить, расчленивать, разбросать, размножить, и собрать, совсем уж негаданно, нити все в единый клубок, – окрылённый рождённым им по наитью, как музыка в музыке или, может, как сон во сне, или как ядро в скорлупе им разбитого вдруг ореха, совершенно ведь неизвестным никому, вот в чём дело, ранее, упоительно свежим, новым, восхитительно громким звуком, извлечённым им, композитором авангардным, из крепкой Кубовой, абсолютно непробиваемой, никакой железной штуковиной, и ничем вообще на свете, не старайся не прошибёшь, устоявшей, удар принявшей благодарно, даже почтительно, поэтической головы, прирождённый новатор, Столяр доиграл нам свою симфонию.

Он – устал. Он очень устал.

Он так старался играть, столько сил вложил в исполнение грандиозной своей симфонии, что едва сумел встать с табуретки, повернуться к нам, поклониться и широко, по-свойски, развести в обе стороны руки – вот, мол, что это, братцы мои, за великое сочинение!..

И мы, познавшие чудо рождения редкостной музыки, горячо, взволнованно, искренне поблагодарили его.

И особенно бурно, восторженно, вновь раскрыв наконец свой рот, благодарил композитора, извлекшего из головы его фантастический, новый звук, такой, которого в мире ещё вовек не бывало, – конечно же, Кублановский.

Вино, с собой принесённое, мы уже, к сожалению, допили.

Покупать что-нибудь по новой было нам просто не на что.

Посмотрели мы, напоследок, замечательные работы из столяровской коллекции.

Поговорили немного, так, из вежливости, о чём-то.

Потом, решившись, простились – и собрались уходить.

Спокойный Столяр в своих запотевших больших очках церемонно, с полупоклонами, попрощался в прихожей с нами.

Вот какая звучала музыка – там, в былом, посреди бесчасья.

Вот какие бывали встречи здесь, в столице. И – чудеса.

Миф? Легенда? Быль. Кто бы спорил!..

Вот какой человек Столяр.

Я не видел его после этого, ни на что не похожего, вечера, о котором вам рассказал с удовольствием, но и с грустью не напрасной, несколько лет.

И только в самом конце шестидесятых, случайно, увиделся с ним, у Генриха Сапгира, на дне рождения.

Столяр, уже отрастивший длинные тёмные волосы, в тех же очках, что и раньше были на нём, сидел, спокойно и тихо, в углу, – и, присутствуя, вроде, на пиршестве, привычно на нём отсутствовал.

То есть был – там, внутри себя.

Потом он читал мои самиздатовские, подаренные мною Сапгиру, книги, там, в углу своём, вне гульбы, с головой погрузившись в чтение, и всё говорил, что давно уже хочет, нет, просто мечтает написать на стихи мои – музыку.

Я сказал ему – что ж, пиши, мол, если есть у тебя желание.

Потом он тихо, спокойно, как всегда, незаметно, ушёл, вовремя, в самый разгар общего шума и гвалта, звона бокалов, плеска широкой рекою льющейся водки, винных паров, хлопанья открываемых пробок, тостов, приветствий, восклицаний, здравниц, ушёл от раскрасневшихся или же побледневших, как у кого, в духоте, в теснотище, лиц, от густого табачного дыма, от множества лишних слов.

Ушёл – и вмиг растворился в темноте и холоде вечера столичного, где-то на склоне сурового ноября, там, неведомо где, далеко, за мерцающей гранью зеркальной, где в древней Венеции женщины полощут привычно бельё, и в музыке, словно в зеркале магическом, отражается нечто важное для души, новизны ощущений жаждущей, и уйти туда, навсегда, видно, лучше всего – одному.

Ну так что же? Всё ли – о Столяре?

Нет, не всё. Через тридцать лет после встречи с ним у Сапгира мне знакомые рассказали, что его убили. Коллекция знаменитая – расплзлась, разошлась по рукам, расплылась. Где

теперь эти вещи – кто скажет? Сохранились ли музыкальные сочинения композитора? Ничего не знает никто.

Был – и нет. Вот и всё – о Столяре.

Грустно? Грустно. Страшно? Пожалуй.

Ночь идёт. А в Венеции женщины – всё полощут, наверно, бельё...

* * *

...Желтизна листвы. Рыжина её. Жухлый шорох в скверах. Тускнеющий алый прочерк в кронах. Багряных тел неподвижные вороха.

Синева небес. И – свинцовость их. Темнотища в них непроглядная. Лиловой хмари несносность. Весть и напасть. И – сердце стиха.

То-то хотелось рваться, вглубь или вдаль, куда-то, а куда – не всё ли равно!

Вырваться упрямо – за грань, за черту, в заоблачье, может быть, в Зазеркалье, – хотя бы за город.

Лучше – дальше. Поскольку дальше – лучше всё же. Свободнее там дышишь. Зрению там – просторнее.

В электричке, легко прошившей глушизну лесов обомшелых строчкой тонкой, струной зелёной.

На живую нитку сметавшей ткань пространства. Времени ключья незаметно соединившей.

Лёгкой, острой иглой скользнувшей, вкось и ввысь, из яви осенней в измерения другие, странные, с крутизною вершин желанною, с новизною их безобманною предо мной, в иные миры.

За город. В Подмосковье. В область, где облачность гуще, воздух терпче и чище, нравы грубей и проще, дожди затяжные чаще, просторней окрестные рощи, парков райские кущи волшебней, древние мощи холмов покруче кремлёвских. В Подмосковье. Скорее. За город.

В сферу веры. В укром надежды. В безграничное царство любви.

За кромку быта. На волю. Где покой. И счастье. Всё дальше.

В поезде дальнего следования. В автобусе. На попутных грузовиках. Вперёд.

Лишь бы ехать. И чуют: может сердце выдержать путь сквозь новь. Свет утешит. И Бог поможет. Нитью – к сути. Иголю – в кровь.

Лишь бы видеть. И слышать ясный звук, всей правью земной дыша. Речи – быть. И во мгле ненастной – уцелеть. Отзовись, душа!..

Та же осень. И музыка та же с нею вместе доселе. И даже, всех на свете милей и верней, долговечная лирика в ней.

(Всё больше – о дорогом?)

Но можно – и о другом.

Появился на горизонте у меня в ту далёкую пору некий (объект неопознанный, может быть?) молодой, стало быть, всё же опознанный, для какой-нибудь цели да созданный, как следует не осознанный никем, пока что, субъект.

Вьюноша. С виду. Вроде бы.

(Поголывать бы ему! На свободе бы!)

Вполне вероятно – призрак.

В нём – чего-то дурного признак.

(Призвук беды – потом).

Словом, советский фантом.

Стал он, вначале изредка, попадать, проникать в поле зрения. А потом – всё чаще и чаще. Зачастил. Видно, в роль вошёл. Или – в раж. Замашки-то – вражьи. Чувство меры – напрочь отсутствовало. А нахальство – всегда присутствовало. Что ни шаг – то корысть и расчёт.

Румяные щёки. Вихры. Плутоватые глазки. Наглые. Заговорщицкие повадки. Но ещё и повадки агента, выполняющего спецзадание. Что-то было революционное в этом шустром, везде успевающим побывать, паренёке. Имитация – но чего? – в нём тоже была. Разбираться мне было некогда в этом. Да и охоты не было никакой ломать себе голову: кто он? Мне-то – не всё ли равно!

Паренёк был настырным, проницательным. Шнырял по всяким тогдашним сборищам, и всегда, прямо как штык, оказывался там, где народу побольше собиралось. Читают стихи где-нибудь – и он тут как тут. Вроде бы и тетрадку свою, где что-то записано, повсюду с собой таскал. Небось, тоже пишет. Пусть пишет. Писать никому не вредно. Много таких по Москве шляется. Так мне думалось.

Паренёк, между тем, делал робкие попытки со мной познакомиться. На них я не реагировал никак. Старался его просто не замечать. Неинтересен вовсе. Прямо скажем, не симпатичен. Скользкий он был какой-то, липкий, как будто намыленный. Такой вот куда угодно без особых трудов проскользнёт. Втиснется. Протечёт. Просквозит. Пролезет. Внедрится. И лучше всего от него держаться всегда мне подальше. Так я тогда рассуждал.

Однажды, в осеннюю пору, затащил меня Коля Мишин, человек артистичный, весёлый, на вечер третьестепенных советских поэтов каких-то в музее Политехническом.

И зачем я туда притащился – до сих пор, поверьте, не знаю.

Коля меня, наверное, как-то уговорил.

Я и пришёл, за компанию с ним, на заведомо скучное, совершенно не нужное мне, заурядное мероприятие.

Сидим на своих местах.

В зале народу – не густо, с гулькин, всего-то, нос.

Народ в былые года прекрасно соображал, куда, кровь из носу, надо пробиться и там побывать, а куда ходить, чтоб скучать там, нет никакого смысла.

Мы же с другом Колей, в отличие от народа мудрого нашего, промахнулись, это уж точно.

И я уже горько раскаивался в том, что я нахожусь вовсе не там, где хотелось бы мне сейчас оказаться.

Вот, сержусь на себя. Терплю.

Время зря теряю, и только.

Советские третьестепенные поэты сидят на эстраде, по очереди читают, сменяя друг друга, стихи.

Скучно – до невозможности.

И вдруг происходит в зале некое шевеление.

Кто-то из публики, вслух, в открытую, смело весьма, да ещё и довольно громко, выражает своё недовольство стихами советских поэтов.

Публика оживляется: дело пахнет скандалом.

Ну вот и ладушки. Будет повод повеселиться.

Смотрю – да ведь это, надо же, тот самый, розовощёкий, шустрый, по всей Москве мелькающий, как заведённый, паренёк, сегодня скандалит.

Вихрами трясёт, своими завитушками непромытыми.
Руками, обеими, сразу, быстро, как мельница, машет.
Голос дрожащий, пускающий петуха, всё смелей подаёт.
И даже с места привстал.
Чтобы в зале все его видели.
К советским третьестепенным поэтам он обращается.
Требуя ультимативно, чтобы его на эстраду выпустили поскорее, людям стихи почитать.

Советские третьестепенные поэты между собою переглядываются, не зная, как им вести себя в щекотливой такой ситуации. Совещаться тишком начинают.

А публика в зале бурлит, бушует, – веселья требует.

И уже кричат отовсюду завзятые энтузиасты:

– На эстраду пустите парня! Пусть читает! Имеет право! Мы послушать его хотим!

И советские третьестепенные поэты натиску публики уступили. Подняться к ним паренька сообщца пригласили.

Паренёк на эстраду вышел.

Стоит, смущается, мнётся.

И щёки уже не розовые, а здорово покрасневшие.

Спрашивают его советские третьестепенные поэты, миролюбиво, вполне дружелюбно спрашивают:

– Кто вы будете? Как объявлять вас?

Паренёк отвечает им робким, дрогнувшим голосом:

– Батшев.

И, после мучительной паузы, невнятно и скромно:

– Владимир.

Тогда предводитель советских третьестепенных поэтов решительно всем объявляет:

– По убедительной просьбе многих собравшихся ныне в зале Политехнического любителей нашей поэзии выступает сейчас молодой поэт, Вадим, нет, Владимир, Бата...шов... Баты... шьян... Болту...щёв... Как, простите? Погромче скажите. Не расслышал я вашу фамилию.

– Батшев я, – говорит паренёк чуть слышно. И густо краснеет.

– Молодой московский поэт Валерьян Бултышов! Прошу!

Показывает предводитель советских третьестепенных поэтов, куда пареньку на эстраде следует встать.

Сам степенно садится рядом с товарищами по профессии. Настраивается слушать приглашённого паренька.

Публика с любопытством ждёт: что же будет дальше?

Вот уж, действительно, случай!

Можно сказать, повезло.

Скука была натуральная, а теперь спектакль начинается.

Паренёк, вихрами потряхивая и щеками пылая пунцовыми, неуверенно, спотыкаясь и страшась, к микрофону подходит.

Видно, делает это впервые.

И вот – начинает читать...

Он обрушил на головы слушателей длинную, и скучнейшую, и откровенно бездарную поэмищу, о своём, не потерянном, поколении.

Это была такая чушь и галиматья, что публика в зале мгновенно поняла, с кем имеет дело.

Но – приходилось, пока что, ничего не попишешь, терпеть. Сами ведь подсобили пареньку на эстраду выйти.

Посему – пускай почитает.

Правдолюбцев – следует слушать.

Паренёк – увлечённо читал.

Потряхивая вихрами.

Пылая щеками пунцовыми.

По-маяковски, отмахивая ритм правой рукой, со сжатым, до судороги, кулаком.

Читал – поначалу – пять громогласных, коротких минут.

Десять минут прошло.

Потом – пятнадцать минут.

И, в нахлынувшем упоении грандиозным таким событием, – ещё бы! ведь он доносит до народа слово своё! – не замечал ни времени, всё идущего да идущего, ни реакции соответственной всё усиленной ропщущих слушателей.

А реакция их была, разумеется, незамедлительной.

Вначале начали в зале раздражённо гудеть. Потом – шумно переговариваться. Ну а потом уж, позже, – откровенно смеяться. Ржать.

Поэты третьестепенные советские на эстраде проявляли терпение. Сдерживались. Но вот и они, всё громче, тоже, дружно, стали смеяться.

И в самом деле, читаемый, с немалым пафосом, опус краснощёкого паренька был, прежде всего, смешным.

Описательный, повествовательный, он, опус, подробнейшим образом размусоливал и разжёвывал зануднейшую, гражданственную, советскую, разумеется, с романтической, из революции, из гражданской войны, основой, тему поиска неустанного молодым поколением нынешним своего, достойного, места в мире нашем, где есть всегда время и место подвигам, где силы свои приложить, все абсолютно, следует для достижения цели, своей, поставленной загодя, возможно, ещё во младенчестве, где человек, по Горькому, звучит и доселе гордо, где надо бороться, искать, найти, не сдаваться, где следует буржуинам любых мастей дать отпор, сокрушить их, проклятых, где самое дорогое у нашего человека – это жизнь, и прожить её надо так, чтобы не было больно мучительно, после, потом, в грядущем, ну и так далее, – и вся эта несусветная бодяга, с пылом и с жаром, с должным рвением, как и следует читать прирождённому, видимо, трибуну и агитатору, выкрикивалась, вымучивалась, выплёскивалась, выбрасывалась в зал, который, вполне понятно, от неслыханной этой чуши просто-напросто охренел.

Паренёк читал двадцать минут.

Двадцать пять минут.

Целых тридцать.

Публика в зале музея недовольно, сердито бурлила.

Но паренёк её, разумеется, вовсе не слышал.

Он слышал – себя, любимого, чьими устами сейчас, по его, паренька, разумению, говорило, нет, заявляло, громогласно и убедительно, здесь, в музее Политехническом, где традиции живы чтений поэтических, страстных диспутов, лекций сенсационных, просмотров кинофильмов, различных встреч с интересными современниками, поколение молодое.

Паренёк читал, между тем, тридцать пять бесконечных, бессмысленных, съевших время людское, минут.

Мне уже и возмущаться-то не хотелось – так основательно вся эта чушь надоела.

Паренёк читал сорок минут...

И тогда-то со своего законного места встал, с осознанием важной миссии, возложенной на него, без просьб и без лишних слов, наверное, телепатически, всей публикой, – Коля Мишин. Увидев Мишина, публика почтительно и благодарно уставилась на него.

Ну, вот, дождались, теперь-то, это уж точно, что-нибудь из ряда вон выходящее обязательно произойдёт.

– Эй, парень! – решительно, твёрдо, спокойно и громко сказал Коля Мишин. – Ты, там, на эстраде!

Паренёк поперхнулся, вздрогнул и немедленно замолчал.

Глупо вытаращился в зал, откуда к нему так властно доносился митинский голос.

Щёки его налились лиловато-багровым цветом.

Руки его затряслись мелкой безудержной дрожью.

– Парень! – сказал ему, стоя во весь рост свой гвардейский, Мишин. – А ну-ка, вали с эстрады! Хватит всякую чушь нести! Давай, давай, уходи! Быстро! Нечего здесь тебе делать. Да и с нас всех уже достаточно. А ну, шевели поршнями! Я что сказал? Не доходит? Катись поскорее отсюда! Нечего в зале приличном бездарщину разводить! Ноги в руки – и уходи!

Публика в зале музея была так довольна, что сразу же устроила Коле овации.

Мишин принял это как должное.

Аплодируют люди – значит, считают, что заслужил.

Он своё дело – сделал.

Паренёк на эстраде так растерялся, так перетрухал, что весь поджался, вихрастую голову в плечи втянул, будто бить его тотчас же будут.

А потом, действительно взяв ноги в руки, довольно ловко, мечтая лишь об одном – поскорее исчезнуть отсюда, – посрамлённый, жалкий, беспомощный, из героя воображаемого превратившийся вмиг в посмешище, осторожно, бочком, тишком, поскорее, понезаметнее, чтоб чего-нибудь нам не вышло, сполз с эстрады – и в самом деле, вы представьте себе, – исчез.

Куда он девался? Только что был ведь – и нет его здесь.

Кто он? Фантом какой-то со стихоплётным бредом?

Померещилось, может быть? Нет же!

Как будто бы ветром сдуло.

Выдуло вдруг из зала.

Испарился. Сгинул. Пропал.

И закончился вечер поэзии.

Был – столичный осенний вечер.

Публика покидала старый Политехнический.

Мы с Мишиным, снисходительно принимающим благодарность от людей, им спасённых вовремя, поскорее отсюда ушли...

Вот что было в Москве однажды.

Факт. Упрямая вещь, как известно.

Случай подлинный. Сущая правда.

Бред, оставшийся где-то в былом.

Ну а было ли продолжение у истории? – спросит читатель. Было. Не было б лучше его!..

Паренёк-бултышок румяный с фамилией невразумительной опять возник на моём горизонте. Бочком, тишком, проник в моё поле зрения. Материализовался.

Теперь всё чаще он делал с виду робкие, но выдающие настырность, попытки поближе познакомиться и со мной, и, конечно, с моими друзьями.

И познакомился, всё-таки.

Уловил подходящий момент.

Я пошёл на это. Зачем? Сердцем чуял: не надо было допускать его до себя. Но, незнамо зачем, допустил.

Чтобы просто, после знакомства, от него поскорей отвязаться? Ну, положим, так. Утешенья не даёт мне подобный вопрос.

Впрочем, ладно. Случается всякое. Ты такой-то, а я такой-то. Всё. И точка. И разошлись восвояси, в разные стороны.

Существой себе где-то там, далеко, да подальше, желательно, с осознанием знакомства этого в голове. Мне-то что до тебя?

Эх, не тут-то было! Такое началось, что я просто взвыл.

Паренёк прилипчивый стал возникать повсюду, где мог я оказаться, случайно даже, и, само собой, в тех местах, где бывал я довольно часто, с завидной, наверное, накрепко с дисциплиной внутренней связанной, с расписанием неким, с графиком, слишком точным, намеченных встреч, вечеров и чтений стихов, чекистской какой-то, въедливой, назойливой постоянностью.

И всегда, первым делом, лез, из толпы, из метро, из дверей приоткрытых, из окон распахнутых, из всего, что было вблизи, вдалеке, в стороне, в округе, лез из облака, из-под земли, лез из леса, лез из тумана, лез из утра, из дня, из вечера, лез из ночи, из мглы, из мрака, лез из кожи, лез из листвы, из игольного лез ушка, из щелей, из трещин, из люков канализационных, из ям и канав, из провалов, и шахт, и прорв, и пустот, лез ко мне, здороваться, чтобы видели непременно все вокруг: он со мною знаком.

Как быть? Удастся ли мне отделаться от него?

Пошлешь подальше, по-русски, по-народному, по-простому, как следует, – не поймёт ведь. Подождёт – и опять привяжется.

Как отшить его? Как отвадить, навсегда, чтоб и след простыл?

И откуда берутся такие наглецы? Из воздуха, что ли?

Ну прямо как мошки летом над фруктами с овощами!..

Паренёк мечтал побывать у меня – хоть разочек – дома.

Бултышонку страсть как хотелось посмотреть, как живёт поэт.

И, ежели повезёт, ещё и стихи услышать.

В домашней, ни больше, ни меньше, в уюте, в тепле, обстановке.

По-свойски – почти, так сказать.

И тогда – вспоминать мне странно —

я решил его разыграть.

Получилось это – спонтанно.

В гостях у меня (всё там же, на милой Автозаводской) как раз находились Аркаша Пахомов и Коля Мишин, оба – специалисты большие, по части розыгрышей, а заодно и по части всяческих приключений.

Втроём, никуда не спеша, сидели мы грустным осенним вечерком, в тишине и покое.

Беседу вели степенную.

Намеревались даже, прикинув свои возможности, поднять настроение общее, то есть выпить немного.

Прикинули эти возможности.

Кое-что с трудом наскребли.

Хватало, копейка в копейку, на три бутылки вина.

На целых три. Замечательно!

Можно будет поднять настроение.

Нас – трое. Бутылок – три.

В перспективе. Денег-то – хватит?

Вроде, должно хватить.

Надо проверить – на деле.

Пахомов, с места сорвавшись, тут же сгонял в гастроном.

В ближайший. В наш. Расположенный буквально в минуте ходьбы от дома. Все местные жители были этому рады.

Рады были и мы этому обстоятельству.

Через три минуты Пахомов к нам вернулся. С тремя бутылками портвейна. Весёлый, довольный. Марш-бросок завершился успешно.

Три бутылки портвейна белого встали в ряд на столе моём.

Целых три. По одной на каждого.

Это всё-таки что-то да значит.

Поднимать пора настроение.

И бутылки пора открывать.

Жизнь действительно продолжается.

Настроенье – уже повышается.

Что-то свыше за нас решается.

На безденежье – наплевать!..

И раздался вдруг в коридоре телефонный громкий звонок.

Потому не в моей комнате, а в коридоре общем, что телефон был один в коммунальной квартире нашей, общий для всех жильцов.

Наверное, нынешним, некоторым, деятелям как бы времени – или, как я ещё иногда называю его, междувременья. – трудно такое представить, с их мобильниками обильными, пейджерами и прочими средствами сверхнадёжной и поминутно, без всяких задержек и сбоев неганданной, оплачиваемой связи, но в наши, доисторические, наверное, времена, и наличие несомненное такого, для всех соседей, общего, телефона, было жизненно важным, пожалуй, и составляло даже предмет, или, может, объект, некоторой, немалой, по меркам тогдашним, гордости, – ведь, если на то пошло, у большинства московских жителей и в помине такой вот роскоши не было.

Итак, звонок телефонный раздался у нас в коридоре.

Соседки меня подозвали.

Я подошёл. Взял трубку.

Звонил, разумеется, Батшев.

Надеялся на общение.

Очень уж пылко мечтал в гости ко мне попасть.

И тут я, сам толком не знаю – почему я так поступил, взял да и пригласил его, паренька-бултышонка, к себе.

Приезжай, мол. Прямо сейчас.

Продиктовал адрес.

Говорил вполне дружелюбно.

Сказал, чтобы он приезжал ко мне, сюда, через час.

В ответ я услышал, что он приехать готов даже раньше, что он способен быть здесь всего через полчаса.

Ну, тем лучше. Пусть будет так.

Тем быстрее слиняет отсюда.

Так я тогда рассуждал.

Я спокойно вернулся в комнату и сообщил Аркаше Пахомову с Колей Мишиным, что вскоре сюда, в наш рай осенний, приедет Батшев.

Пообщаться парень мечтает.

Познакомиться с нами поближе.

Счастлив очень, что я сегодня не отшил его, как и следовало поступить бы мне, проявившему непонятную доброту к суетливому, краснощёкому, подозрительному пареньку, но зачем-то, зачем – не знаю, пригласил его к нам сюда.

– Как? – воскликнул тогда Коля Мишин. – Это что же – тот самый румяный паренёк, неприятный, противный, которого я, на вечере в музее Политехническом, недавно, с эстрады выгнал?

Я подтвердил:

– Он самый.

Мишин спросил меня:

– На хрена он, скажи, здесь нужен?

Я ответил:

– Да я, признаться, толком и сам не знаю. Просился. В гости к поэту. Вот я его и позвал.

– Парню, хочу заметить, образовываться пора! – солидно сказал Пахомов. – Пусть приезжает. Мы его уму-разуму быстро научим.

– Такого научишь! – грустно, со вздохом, заметил Мишин. – Такие вот идиоты румяные ничему вообще научиться не могут. Жизнь сама и та ничему их, никогда, ни за что, не научит.

– Ну, ты, Коля, помягче бы всё-таки! – пробасил, закурив, Пахомов. – Паренёк ещё молод. Видел я его. Пускай приезжает. Глядишь, какая-то польза для него, бестолкового, будет. Не вечно же, согласитесь, ему, человеку ищущему, по всяким литобъединениям да вечерам поэзии, с их тоской сплошной, околачиваться!

И тогда я сказал друзьям:

– Есть у меня идея!

И, по наитию, вкратце изложил им, что можно сейчас нам, троим, предпринять.

Идея грядущего розыгрыша Пахомову с Мишиным, людям опытным в этих делах, чрезвычайно, с ходу, понравилась.

Выпивку мы, на время, отложили. С этим – успеется.

И – приступили к действиям.

Найденными в шкафу герасимовской московской тёщи кусками тканей мы, со вкусом и даже с шиком, проявив таланты дизайнерские, элегантно задрапировали настольную старую лампу.

Из того же шкафа затем извлекли стоявшую там, в уголке, в паутине, годами, генеральскую шашку, напомнившую о гайдаровской, школьной романтике, детских играх в войну, кинофильме о Чапаеве, и так далее, и повесили, – полюбовавшись на её никакой не острый, потому что никем не заточенный, за ненадобностью, холодный, чуть изогнутый, строгий клинок и надёжную, очень удобную, для руки героической созданную неизвестными мастерами,

для сражений, для всадника, мчащегося на горячем белом коне, в бой, вперёд, на врага, рукоятку, – на стене, на красочном фоне потёртого, драного коврика, то есть на самом видном и самом почётном месте.

Смотрелась она – решили мы втроём – чрезвычайно эффектно.

Затем на моём столе и прямо на подоконнике, среди горшков и вазонов с комнатными цветами, расставили мы, с художественной, божественной изобретательностью, все пустые, зелёные, белые и коричневые, советские, да ещё две-три заграничные, из-под рома и из-под виски, чтобы знали наших, бутылки, все, какие только нашлись в комнате и на кухне.

Рукописи мои мы отодвинули в сторону, но так, чтобы видно было: они всегда под рукой.

В старую, от прибора письменного, чернильницу воткнули гусиное, белое, размохрившееся перо.

Принесли с коммунальной кухни кофейник, пустые чашки, ложки, ножик и сахарницу, поставили их в сторонке.

Красиво расположили стопки растрёпанных книг.

Расшитою, в стиле восточном, цветами и птицами, ширму, столетней, наверное, давности, поставили наискось, так, чтобы она срезала один, потемнее, угол.

Водрузили на подоконнике доселе уныло пылившийся на шкафу тяжёлый, серебряный, дворцовый, с виду, подсвечник с тремя изрядно оплывшими, поуменившимися в размере, но ещё вполне, мы решили, пригодными, стеариновыми, желтоватыми, с фитильками подгоревшими, криво загнутыми, наподобие рыболовных, поржавевших слегка, крючков, вмиг привнесшими в комнату нечто из столетия девятнадцатого, или даже из восемнадцатого, разгореться готовыми сызнова в нашем веке, двадцатом, свечами.

Прикрепили на стенах, наскоро, без особого выбора, так, всё, что под руку подвернулось, что нашлось, без излишних поисков, что по ходу нам приглянулось, картинки разнообразные, в основном мои и губановские рисунки, времён очаковских и покоренья Крыма, как шучу я теперь, хорошие, выразительные, досмоговские, цветные и чёрно-белые, и несколько репродукций современной западной живописи.

Поразмыслив, я прислонил к стопке книг на краю стола открытку почтовую с «Паном» своего любимого Врубеля.

Очень даже нам пригодился и без всякого толку стоявший у стены, совсем позабытый, позаброшенный карточный столик.

Нашлась и колода старых, довоенных, игральных карт.

Новонайденный карточный столик мы поставили в центре комнаты.

На столик – направили свет, жёлтый, тёплый, настольной лампы.

На зелёном сукне положили карточную колоду.

Выставили свои бутылки вина, стаканы.

Этакую художественность в обстановке, выходит, создали.

Оглядели её, придирчиво, все, втроём, – и остались довольными.

То что надо! Ну впрямь как в Большом, или в Малом, неважно, в каком, скорее, всё-таки, в нашем, на Автозаводской, театре.

Теперь оставалось только дожидаться приезда Батшева.

И вот он явился. Быстро добрался. Не запылится.

Встал дорожным столбом на пороге. Поздоровался вежливо с нами.

Радушным хозяйским жестом я, слегка старомодно, учтиво, пригласил его, краснощёкого бултышонка, войти ко мне.

Он робко, совсем по-школьному, замер у двери в комнату.

Потом, потихоньку, бочком, тишком, бесшумным шажком, протиснулся, просквозил, проник, просочился вовнутрь.

И – замер, с разинутым ртом, глубоко потрясённый увиденным.

Комната, превращённая в обиталище Муз и гениев, освещена была приглушённым, загадочным светом.

Горела настольная лампа, элегантно задрапированная зелёной складчатой тканью.

Горели, мерцая, вспыхивая, потрескивая, оплывая стеарином расплавленным вниз, чтобы пламя взметнулось вверх, три свечи в тяжёлом, серебряном, несомненно, дворцовом, подсвечнике.

Поблёскивала на стене, на фоне узорного коврика, восточного, безусловно, персидского, или кавказского, из Лермонтова прямиком, из «Героя нашего времени», прямо с гор, из аулов заоблачных, из легенд, из преданий седых, генеральская, удалая, боевая, это уж ясно, сохранившаяся прекрасно, чтоб в сражения новые рваться, невозможно никак оторваться от неё, взгляд притянет она и в грядущие времена, богатырская, дивная шашка.

Все источники света, дробясь, отражались в большом, почти во всю стену, прохладном, влажном, чёрно-синем оконном стекле.

На столе моём сразу бросались в глаза весьма многочисленные рукописи и книги, гусиное, как в старину, когда-то, перо в чернильнице, весь этот пушкинский, байроновский, романтический, поэтический, явно творческий беспорядок.

Из включённого в сеть приёмника тихонько, плавно лилась грустная, вся в миноре, сплошные бемоли, синкопы, полутона и паузы, чтобы ритму вновь продлеваться, медленная, кружащаяся винтообразно, музыка.

Вдосталь было в комнате всяческих, артистически просто сделанных, пора бы отдать нам, дизайнерам, должное, драпировок.

Особенно выразительной оказалась косо срезавшая полутёмный угол, цветастая, в стиле восточном, ширма.

Посередине комнаты, в самом центре её, стоял небольшой, из хорошего дерева, старинный карточный столик.

На зелёном его сукне, освещённом умело направленной сюда настольного лампой, пёстрой грудой лежали карты.

Шла игра. Возможно, по крупной.

За карточным столиком важно сидели Пахомов с Мишиным.

Сизый табачный дым поднимался над их головами колеблющимися волнами.

Они – увлечённо играли.

Они – картёжники рьяные, не иначе, – не обратили на вошедшего в комнату Батшева, ни на миг, никакого внимания.

– Дама! – басил Пахомов.

– Король! – тенорком воркующим, вслед за ним, приговаривал Мишин.

– Валет! – басовито гудел, сигаретой пыхтя, Пахомов.

– Туз! – тенорком, со значением, спокойно парировал Мишин.

Шла – игра. Большая. Серьёзная.

Это сразу было понятно.

Взлетали руки соперников с зажатыми в них, пестрящими крапом цветастым, картами.

Карты с треском сухим ложились на зелёное, чуть потёртое, но ещё хорошо сохранившееся, до поры, наверно, до времени, до игры пахомовско-мишинской, до сражения их, сукно старинного, разумеется, это ясно с первого взгляда, из хорошего дерева, столика.

Тасовалась лихо колода.

Вспыхивали шипучие огоньки зажигаемых спичек.

Поднимался волнами сизыми к потолку, расползался вдоль стен, вырывался в открытую форточку сигаретный тягучий дым.

- Пики! – басил Пахомов.
- Черви! – парировал Мишин.
- Бубны! – басил Пахомов.
- Дама трэф! – парировал Мишин.

Изумрудным толстым стеклом тускловатого, хмельно поблёскивали приготовленные для застолья, для которого час настанет после карточной, кто кого, всё решится вскоре, игры, на виду стоящие, вот они, целых три бутылки вина.

Таинственным полем зелёным казалось в дыму сукно карточного, старинного, из хорошего дерева, столика.

Зелёная ткань, так смело и так умело наброшенная на лампу настольную, издали казалась дымкою хвойной.

Мерцали в прохладном, влажном, чёрно-синем стекле оконном отражения лампы настольной, горящих свечей, наших лиц.

Глядели со стен на вошедшего картинку, мои и губановские, а также, к ним в дополнение, репродукции, понемногу, лучше так, Пикассо, Сезанна, Матисса, Ван-Гога, Гогена.

Глядел со стола на всех собравшихся в этой комнате, врубелевский, ведический, вечно живущий Пан.

Магически, да и только, притягивала к себе генеральская, настоящая, наградная, роскошная пашка.

Тихая, плавная музыка из включённого в сеть приёмника отзвучала – и вместо неё раздалась уже быстрая, джазовая, музыка, буги-вуги, Глен Миллер, всемирный ритм.

В довершение всего, замечу, в ещё не прикрытую дверь моей разукрашенной комнаты зашёл, как домой к себе, огромный, как леопард, соседский, чёрный, как смоль, жутковатого вида кот, встал спокойно напротив Батшева, посмотрел на него мерцающими, зелёными, со зрачками увеличенными, глазами – и гневно, громко, сурово, этак по-генеральски, не иначе, со всею строгостью на него, прищельца, мякнул.

– 3-3-3-др-р-равствуйте! – с перепугу, неожиданно заикаясь, уважительно выпалил Батшев.

Кот взглянул на него презрительно, топнул мягкой, когтистой лапой, шумно фыркнул – и, валкой походочкой, никуда не спеша особо, помахав хвостом на прощание, всем и каждому, – вышел из комнаты.

Пахомов и Мишин – азартно, якобы ничего и никого вокруг, от занятости своим, чрезвычайно серьёзным делом, просто не замечая, некогда, братцы мои, незачем замечать, потому что владела ими неподдельная страсть к игре, потому что ими сегодня руководил азарт, потому что воля к победе и возможность нежданного проигрыша есть понятия слишком уж разные, полярные, скажем так, и никто никогда не сможет оторвать от стола соперников, покуда один из них наконец-то не проиграет, а другой победить сумеет, но всё это лишь впереди, где-то там, в обозримом будущем, в недалёком будущем, так, будет всё-таки поточнее, и пока что не трогайте их, не мешайте им нынче сражаться, бой так бой, оба приняли вызов, оба ринулись в это дело, окунулись в него с головой, занырнули так глубоко, что поди-ка вынырни вмиг, нет, ребята, не всё ведь сразу, бой так бой, борьба так борьба, кто кого, ещё поглядим, кто за кем, ещё разберёмся, не старайтесь в это вникать, не получится, мы такие, мы в своей сегодня стихии, так и знайте, – играли в карты.

Но вот, на приветствие гостя вошедшего, с заиканием, с заминкой невольной в голосе, как будто бы с костью в горле, головы игроков медленно повернулись, от стола с колодой карточной, от игры азартной, к нему.

Батшев, со снятой шапкой в руках, от волнения взмокший, стоял в проёме дверном, робко глядя на игроков.

– Кто это? – басовито, равнодушно, спросил Пахомов и выпустил прямо на Батшева густую струю табачного, сизого, едкого дыма.

– Что там такое? – небрежным, теноровым, оперным тоном, с лёгкой фиоритурой попутной, спросил Мишин. – Кот наш подопытный, что ли? Всё-то ему неймётся. Трансформируется, понимаешь ли. То человеком станет, то опять в кота превратится. Надо бы в Академию наук позвонить, товарищу Булгакову. Пусть забирает, к чертям, своего подопечного. Скажем, что опыт удался.

– Для науки ведь, для родимой, стараемся нынче, Лукьяныч! – рассудительно, по-профессорски, да и только, сказал Пахомов. – Для всего человечества, друг мой. Ради будущего, мон шер, долгожданного нашего, терпим такие метаморфозы.

– Что наука! – сказал, разминая усталые плечи, Мишин. – Наука не всё понимает. Тут в быту, прямо рядом, такое происходит, что никакая, научная даже, фантастика сроду не отобразит.

– Да-да, согласен, – сказал, покивав головою, Пахомов. – И всё-таки, Николай, я за науку. За ней, согласись-ка со мною, будущее.

– Будущее, Аркадий, уверен я, за театром! – веско сказал Мишин.

– И за театром тоже! – согласился охотно Пахомов.

И тут уж, вмешавшись сознательно в их диалог мудрёный, я, вполне дружелюбно, сказал:

– Вот это – Батшев. Знакомьтесь, ребята. Зовут Володей.

– 3-3-драсьте! – сказал им Батшев, держа свою шапку в руках.

– Как вы сказали нам сейчас, молодой человек? – обратился к нему Пахомов озадаченно. – Баташёв?

– Бат-шев! – с готовностью школьной уточнил, смущаясь, пришедший.

– Так, так! – сказал, с пониманьем, по-учительски строго, Пахомов. – А чем, уточнить позвольте, в жизни вы занимаетесь? Учитесь где-нибудь? Каковы интересы? Пристрастия?

– Стихи пишу! – произнёс еле слышно, с усилием, Батшев.

– Где-то я молодого этого человека видел уже! – сказал Мишин. – Вот только где? Вспомнить бы! Щёки румяные. Очень они запомнились.

– В Политехническом! – скромно, стесняясь, ответил Батшев. – Я там, недавно, на вечере поэзии, новую вещь, поэму свою читал.

– Да-да, – процедил сквозь зубы, выдержав паузу, Мишин. – Как же! Припоминаю.

– Ну-с, молодой человек, – сказал спокойно Пахомов. – Что же вы? Так и будете истуканом стоять на пороге? Смотрите. А то ведь кот может сюда вернуться.

– Парень, а ну-ка закрой, как можно скорее, дверь! – приказал румяному гостю Мишин. И уточнил, для ясности: – В спину дует.

Батшев, слишком поспешно, угодливо, аккуратно, прикрыл за собою дверь.

– Да ты проходи, не стесняйся! – сказал я ему поприветливее. – Пальто – на вешалку, шапку – на табуретку. Присаживайся. Видишь, какая у нас обстановка сегодня. Друзья мои карточный спор свой решают. Ради такого важного дела ужин пришлось отложить. Собирались мы поехать в «Узбекистан», ресторан излюбленный наш. Да теперь-то куда нам ехать!

Батшев, пальто своё сняв и шапку на табуретку положив, тихонько присел на самый краешек стула.

– Итак, молодой человек, – сказал ему строго Пахомов, – стало быть, вы стихи, как я понимаю, пишете.

– Пишу, – отвечивал Батшев.

– И давно?

– Порядком уже.

– И что же? Где-то печатаетесь?

– Ещё нет. Но, возможно, буду.

– Это плохо! – сказал Пахомов.

– Почему? – удивился Батшев.

– Потому! – отозвался Пахомов.

– Понимаешь, – сказал я Батшеву, – в наше время печататься просто неприлично. Так мы считаем. Такая у нас этика.

– Так что, парень, – сказал, повысив, ненамного, свой голос, Мишин, – если ты ходить по редакциям намылился, со своими поэмами, то немедленно, лучше прямо сейчас, уходи, подобру-поздорову, отсюда, и в дальнейшем уже никогда к нам не суйся больше. Ты понял?

– Понял, – ответил Батшев. – Но как же тогда Рождественский, Евтушенко и Вознесенский? Они ведь везде печатаются.

– Не говори при мне о них! – покачал у Батшева перед носом приподнятым вверх указательным пальцем Коля. – Заруби себе на носу: их для нас – нет, и всё тут. Понял?

– Понял, – ответил Батшев.

– Я представлю своих друзей, – сказал я румяному гостю.

Аркаша Пахомов с Колей Мишиным развернулись на стульях своих ко мне.

– Мой друг Аркадий Пахомов! – торжественно, словно римлянин, указал я простёртой рукой на окутанного туманом, сигаретным, сизым, Аркашу.

– Аркадий. По батюшке – Дмитриевич! – пожал, без особых эмоций, влажную руку Батшева, шурясь от дыма, Пахомов.

– Мой друг Николай Мишин! – чинно представил я Колю.

– Николай Лукьянович! – подал небрежно два пальца Батшеву, слегка поморщившись, Коля.

– Ну-с, – промолвил Пахомов. – Кажется, господа, принять на грудь нам пора.

– Это можно! – взглянув на бутылки с вином, согласился Мишин.

– Самое время! – сказал я, посмотрев на свои часы.

– Кстати, – сказал Пахомов, – число бутылок меня, друзья мои, не устраивает.

– Верно, – поддакнул Мишин. – Их всего три. А надо, чтобы их было ровно пять.

– Почему? – удивился Батшев.

– Из мистических соображений, – пояснил, посерьёзнев, я.

– Кстати, – сказал Пахомов, – кто у нас тут самый младший? Молодой человек, не вы ли? – обратился он на Батшева строгий, почти отеческий взгляд.

– Наверно, я! – согласился, с военной готовностью, Батшев.

– А что полагается делать в компании самому младшему? – спросил его, с тихим укором и взглядом суровым, Пахомов.

– Что? – не понял опешивший Батшев.

– Самому младшему, парень, да ещё и в присутствии старших, выпить намеревающихся, полагается, по традиции, тут же бежать за выпивкой. Дабы внести свой вклад в благородное, доброе дело дружеских возлияний. Чтобы действием доказать свою преданность, наконец. Или я говорю непонятно? – вновь он строго, с укором, с прищуром, сквозь дым, посмотрел на Батшева.

– Я понял! Я всё уже понял! – воскликнул румяный Батшев. – Я сбегаяю! Это я мигом! Когда я сюда, к вам, шёл, то проходил как раз мимо такого скромного гастронома, с винным отделом. Это близко, буквально рядом. У меня ведь и деньги есть!

И его словно ветром сдуло.

Без пальто своего и без шапки, бросился он в коридор, потом – в дверь квартиры, которую как раз открывала соседка, и загрохотал подошвами в подъезде, по лестнице, вниз.

– Парень-то, ишь ты, поди ж ты, подаёт надежды! – сказал, поглядев ему вслед, Пахомов.
– Зачем с ним возиться? – спросил меня встревоженный чем-то Мишин. – Гони ты его в шею. Поганый он человек.

– Да ладно тебе. Суров ты чрезмерно сегодня, Коля! – сказал я миролюбиво. – Пусть побудет с нами немного, раз уж сам притащился сюда.

– Ну, смотри! Как знаешь! – сказал Мишин. – А тип он противный.

– Посмотрим, как говорят иногда, на его поведение! – попробовал я отшутиться.

– Пусть выучку нынче пройдёт, – сказал, подумав, Пахомов, – а там, ребята, посмотрим, гнать его или оставить.

Минут через пять раздался звонок. Я открыл дверь.

Батшев, ещё обильнее раскрасневшийся, взмокший, взмыленный, достал из карманов штанов две бутылки портвейна белого, поставил их с ходу на стол и попробовал изобразить радостную улыбку.

– Ну, молодой человек, – сказал ему строго Пахомов, – успели вы, в общем-то, в срок. Это отрадно видеть. Портвейном, гляжу, отоварились. Подешевле, небось, выбирали?

– Ну да, – согласился Батшев. – По правилам. Как полагается.

– Так, – промолвил Пахомов. – Привычки ваши ясны.

Мишин открыл, с известным шиком, бутылку портвейна – и протянул её Батшеву.

– Пей, парень! – сказал ему Коля брезгливо. – Всю. Из горла.

– Зачем? – удивился Батшев.

– Таков ритуал! – пояснил я, понизив нарочно голос. – Вхождение в мир искусства. Может быть, даже – в наш круг. Белая магия. Мистика. Тайна. Так полагается.

– Пей, тебе говорят! – прикрикнул на Батшева Коля.

Румяный Батшев, скривившись, захлёбываясь и давясь, начал пить, из горлышка прямо, дешёвый белый портвейн.

Мы, втроём, наблюдали за ним.

Бутылку он одолел.

Но – сразу же – окосел.

Щёки побагровели.

Глазки сделались мокрыми.

Да, подумали мы, бывалые и матёрые мужики, соратники, собутыльники, герои, поэты, друзья, – видели мы воочию, как нелегко далась ему бутылка портвейна, целая, ни больше, ни меньше, бутылка, бутылка довольно мерзкого питья, с немалыми градусами, бутылка, всего-то, белого портвейна, вполне нормального напитка, для всех привычного в советской нашей действительности, рядового, традиционного, заурядного, может быть, пусть, но частенько просто спасительного, в условиях относительного порядка в стране и режима, вызывавшего боль да грусть.

Да, видно было, – не тянет на соратника и героя раскрасневшийся от портвейна и волнения паренёк.

Событие, что ли, значительное?

Ну подумаешь, выпил вина.

Впечатление – огорчительное.

Наверстаёт ли всё сполна?

Пил из горла. Надрывался. Нарывался на подвиги – сам.

Очень уж он старался, чтоб хоть этим понравиться нам.

Окосев, он стал побойчее.

Пытался то так, то этак приспособиться к нам, к нашим ритмам.

Ну а мы, продолжая розыгрыш свой осенний, изображали бывалых, видавших виды, умудрённых жизнью, в сражениях побывавших многих, точнее, в ситуациях разнообразных, твёрдо знающих, что почём, что и как в окружающей нас, ненормальной, советской действительности, в неизбежной её относительности, в неизменной людской впечатлительности, жёстких, правильных мужиков.

Обменивались, поглядывая, друг на друга, или на гостя краснощёкого нашего, так, иногда, между прочим, вскользь, будто вышло это случайно, прорвалось невольно, само, сквозь обычные разговоры, сквозь привычные, вроде, для всех, но таящие смысл особый, зашифрованные слова, сквозь гримасы и недомолвки, сквозь молчанье, многозначительными, с явной тайной внутри, с незримою подоплёкой, туманными фразами.

Вспоминали различные случаи из нелёгкой, походной жизни. Прихлёбывали, никуда не спеша, по глоточку, вино.

Батшеву – больше ни грамма, из принципа, не давали.

Он жадно, весь в слух превратившись, внимательно, слушал нас.

Вникал в суть слов и понятий. Всё тут же запоминал.

И так ему сильно хотелось выглядеть нынче своим, так он из кожи вон лез, тужился, так старался, что даже неловко мне за него порой становилось: ну что это он так заискивает, так хочет понравиться нам, лебезит, уважение всячески, некстати и кстати, выказывает?

Что он за тип такой?

Нет, не то что в друзья, – какое там, с чего бы дружить нам с ним? – и в приятели он не годится.

Меня позвала к телефону, в дверь постучав, соседка.

Звонил Губанов. Немного мы с ним поговорили.

Я вернулся в комнату вскоре. И сказал, обращаясь ко всем:

– Лёня Губанов звонил. Вам, Аркаша и Коля, приветы передавал. Говорит, новый цикл стихов только что написал. Почитать на днях собирается.

– А мне, скажите, а мне, – взвился штопором Батшев, – можно будет пойти? Можно будет послушать? Можно мне будет с Лёней Губановым познакомиться?

– Посмотрим ещё в дальнейшем на твоё поведение, парень! – осадил его холодно Мишин.

– Это уж как получится, как Лёня Губанов захочет! – философски заметил Пахомов. – Эх! – он по-богатырски расправил сутулые плечи и растроганно прогудел: – «Глупышка, ивушка, Ивашка, сорокалетие настало!..»

– «Полина, полынья моя...» – с замиранием в дрогнувшем в голосе процитировал тихо Батшев.

– Ишь ты! – сощурился Мишин. – Вы только подумайте! Знает!

– Я многое, многое помню из Губанова! Я наизусть стихи его многие знаю! – затараторил Батшев. – Я из вас, Володя, из ваших прежних и новых стихов, помню многое, очень многое! – обратился он, раскрасневшись пуще прежнего, прямо ко мне. – «Когда я вышел на крыльцо...», «Смотрите – деревья ладонями машут – им тоже не выйти из этой игры...» Замечательно просто! Здорово!

– Смотри-ка! – ещё сильнее и зорче сощурился Мишин. – Ишь ты, какой! Запомнил!

– А я, между прочим, сразу же всё нужное запоминаю! – возбуждённо похвастался Батшев. – Как услышу хоть что-нибудь важное, так и запоминаю.

(Говорил мне, уже в девяностых, кто-то из давних моих, московских, приличных, знакомых, что в своих, даже изданных где-то, бестолковых воспоминаниях Батшев отобразил свой давнишний визит ко мне.

Мою коммунальную комнату называет он там почему-то странной и пятиугольной.

Померещилось, может. Со страху.

Ну а то, что странной она ему показалась, так это уж точно. Мы тогда постарались придать ей художественный, артистический, богемный, а потому, конечно, и странный вид.)

– Надо же! – пробасил, отхлебнув портвейна, Пахомов. – И что же, выходит, вы, молодой человек, всё то, о чём говорили мы втроём сегодня, запомнили?

– А как же! – воскликнул Батшев. – Я сегодня впервые в жизни, вместе, рядом, сижу с поэтами настоящими! Я так рад, что к себе вы меня пригласили!

– Восторженное у парня отношение, други, к поэтам! – сказал, подбров, Пахомов.

– Сыскное, вот что скажу я, у него, хлыща, отношение, догадаться несложно, к поэтам! – вдруг тихо совсем процедил помрачневший неожиданно Мишин.

Я, быстро, недоумённо, посмотрел в упор на него.

Коля как-то слишком серьёзно посмотрел в упор на меня.

Что хотел он этим сказать?

Пошутил? Догадался о чём-нибудь?

Он угрюмо и тяжело молчал.

Один я, со слухом своим отменным, вмиг среагировал на его действительно страшное, необычное замечание.

Ни Пахомов, ни Батшев румяный – этого не услышали.

Стало мне почему-то грустно.

И к забавному нашему розыгрышу почему-то пропал интерес.

И хотелось лишь одного – одиночества и покоя.

Поздно вечером – все разошлись.

Я остался один. Закурил. Посмотрел в окно, за которым трепетали остатки листвы на деревьях окрестных, под ветром, налетающим, снова и снова, то с одной, то с другой стороны, хищно, дерзко, на всю округу, на столицу в тумане сонном, на страну в океане бездонном темноты ночной, тишины с тусклым отсветом бледной луны, – и великую грусть почувал...

И гадать не хочу я вовсе, удачен ли был наш розыгрыш или не очень удачен.

Почему? Потому что в кратчайшее время румяный Батшев пролез повсюду, куда только можно было. Внедрился.

И с Губановым познакомился.

И с приятелями другими нашими познакомился.

И уже везде, где возможно, читал он свои стихи.

Был чрезвычайно активен. Словно зуд его донимал какой-то. Ему хотелось действовать. Будоражить общественность. Выступать на площадях. Читать со сцены в огромных залах. И так далее. Много чего ему в то время хотелось.

И зачем я как-то нелепо, на авось, мол, была не была, притерпелся, что ли, к нему, наглецу, проходимцу, тогда?

Привык? Почему – привык?

Нет. Именно притерпелся.

Ну, есть, мол, такой, и ладно.

Переделать его невозможно.

Такой уродился, шустрый.

Практичный. Двуличный. Столичный.

При полном отсутствии дара.

При наличии качеств других.

Через месяц примерно, придя ко мне на Автозаводскую днём, без всякого там звонка, на правах знакомого, к чему я тогда отнёсся отнюдь не с восторгом, он, шевеля вихрами невымытыми с проступающими из них рожками, что я сразу же заметил, и розовея безволосыми красными щёчками, будет с явным, яснее некуда, упоением, торжествуя, наблюдать, как в очередном, внезапном, нахлынувшем приступе отчаяния проклятого, прямо здесь, в коммунальной комнате, на его, мерзавца, глазах, прямо в обычной кастрюле, бросая туда непрерывно скомканные, измятые, в мелкие клочья изорванные, пачки мною исписанных белых бумажных листов и поджигая их, уничтожаю я свои стихи, и пылает устроенный мною костёр, и по всей моей милой комнате разлетаются невесомые, те, что были белыми, ставшие лиловато-чёрными, клочья вроде уж и не бумаги, но, вроде, ещё и не копоты, а так, пограничного, что ли, чего-то, всего лишь мгновенье назад, несомненно, бывшего стихами моими, многими, а теперь превращённого в пепел, в лёгкий прах, на грани зияния, – так я и запомнил его, стоящего в окружении почерневших, сгоревших ошмётков былых писаний моих, и с неописуемым, злостным наслаждением наблюдающего за их полётом свободным в ограниченном, тесном пространстве моего жилища столичного, и в глазах его я читал: жги, жги! могу и помочь! не откажу себе, ежели что, в таком удовольствии! – но тогда я обошёлся и сам, без сопливых, и сжёг всё, что сгрёб в охапку со стола своего, без разбора, что под руку подвернулось и брошено было в костёр, – и только потом уже, позже, спохватился, но было поздно, – и осеннее пламя, домашнее, самиздатовское, так сказать, пошучу, сквозь грусть улыбнувшись, унесло навсегда с собою те стихи, что ему я отдал самолично, в недобрый час, моего горения часть, – но в тогдашнем круговращенье продолжалось моё горенье, и не мог его удержать никто, и стихи другие пришли, и горечь прошла, – так, виденье, воспоминанье, род безумья, почти за гранью, осень, пламя, пепел, зола...

Буквально через три месяца он, оглоед, начнёт уже общественно-политическую деятельность свою, с бестолковщиной злостной, – в СМОГе.

А потом – всё придётся расхлёбывать.

Слишком долго. Мне, в основном.

Не было у меня тогда ни защиты, ни помощи, в отличие от моих друзей, людей защищённых.

И на целую четверть века СМОГ, в который я вкладывал свой собственный смысл, творческий, прежде всего, но другими смогистами понимаемый, видимо, по-другому, изуродовал, как ни горько мне о таком говорить опять, мою жизнь. И пришлось – выживать. Не до розыгрышей бывало. Но судьба к трудам призывала, чтоб из бед сумел восставать...

По зороастрийскому календарю нынешний, в новом столетии продолжающийся, две тысячи второй, в звёздной россыпи, год – это, други мои, год Оленя.

(Вспомнил, что в школе меня называли порой Оленем).

У Оленя есть антитотем.

Это Жаба. Причём, бородавчатая.

Этакая вся скользкая, неприятная, нет, отвратительная, неискренняя в словах и, само собою, в делах, любит она давить, воздействовать на других, норовит их везде подавлять, и всегда она, мерзопакостная, чем-нибудь да недовольна, всё ей, бесстыжей, не нравится, всё у неё не так вокруг, но к тому же и наглости у неё всегда предостаточно, и ещё она просто ужасно чванлива, до невозможности, и ещё, ничего из себя хорошего не представляя, очень любит себе приписывать заслуги чужие, а также достоинства чьи-то немалые, а ещё, что совсем уж противно, жаждет эта гадина власти, спит и видит, как бы скорее до неё, до власти, дорваться, как бы власть эту ей, паскуде, похитрее заполучить.

В общем, сплошные пороки.

И под влияние этого нехорошего антитотема нельзя, читатель мой, в нынешнем году ни за что попадать.

Надо бороться с нечистью.

Вот, пожалуйста. Стоило только вспомнить сейчас о нечисти, вспомнить, морщась и негодуя, о бородавчатой Жабе, как она уже притянула к себе подобное ей.

И сразу я вспомнил о Тарсисе.

Этот Тарсис, хотя и со скрипом рифмовался со словом "катарсис", был ещё и просто кошмарсис.

Натуральный, классический монстр.

Не из петровской кунсткамеры и не из фильмов ужасов, к сожалению, но – из советской, породившей его, действительности.

Было в нём что-то жабье.

Но, в довесок, ещё и бабье.

И, в дополнение к этому, было нечто от жлоба, рьяно игравшего в сноба, в котором бурлила злоба.

Мрак, и только. Ну и особа!

Вурдалак. По такому выродку плачет лесная чащоба.

Там и место ему, подходящее, в гущине, от людей подальше.

Нет, и оттуда бы, видимо, его, не стерпев, попёрли.

Куда? На Кудыкину гору.

Вот, представьте: при полной луне, среди ночи, вдруг открывается крышка гроба – и приподнимается оттуда гниющий Тарсис.

Бородавчато-скользкий. Трясучий.

Зубы щёлкают. Кости гремят.

Скалит зелёную пасть.

Потрох сучий, мурло трясучее, как сказали бы люди бывалые.

Из могилы – в ночь выползает.

И – деятельность вурдалачью свою на земле начинает.

(Говорили, что он стучач.

Исправный. Советский. Со стажем.

Утверждали, что он, работник издательский заурядный, многих успел заложить.

Думаю, так всё и было.

Наверняка это правда).

Идиотское впечатление производил он когда-то на людей, всем видом своим.

Дёрганный, как на шарнирах, фыркающий, неряшливый, кисельный, болотный, хлюпающий вонючей, мерзкой грязцой. Брызгающий во все стороны избыточными слюнями.

Хрюкающий оскаленным ртом, с мокрыми, пухлыми, бабьими, нет, жабьими, всё же, губами.

Ширинка на брюках расстёгнута.

Руки – липкие, суетливо потираемые, корявые.

Постоянно потел. Чихал.

Сморкался. Кашлял. Хихикал.

Звали монстра – Валерий Яковлевич.

При СМОГе он появился – будто из-под земли.

Не исключено, что из гроба.

Прямо с кладбища прилетел.

Поработать желал с молодёжью.

По стукаческой специальности.
Появился – и прикипел.
А потом уж и распоясался.
Проявился – во всей своей скользкой, жабьей, выморочной, вурдалачьей, потусторонней сущности.
Противный тип. Отвратительный.
И проза его – дурацкая.
Никудышняя. Вурдалачья.
С претензиями загробными.
В поту и в зелёных соплях.
С оскаленными зубами.
Ишь ты, славы хотелось ему, мировой хотелось известности! А писать вурдалак – не умел.
Вот и решил он вылезти на злостной антисоветчине.
Потом уехал на Запад.
И заглох там. Сгинул. Исчез.
Крышка гроба над ним захлопнулась.
Кол осиновый вбили в могилу.
И забыли его. Навсегда.
В СМОГе он, с таким понтом, собственную академию, ни больше, ни меньше, всерьёз намеревался создать.

(Вот откуда ещё пошла, как видите, страсть у некоторых субъектов и типажей междувре-
меня – к академиям.

Поскорее производить их, да побольше, да позабористей!

Чтобы в каждой из них – числиться.

В академиках состоять – это вам не хухры-мухры.

Есть в Москве такой гражданин, россиянин, как стали зачем-то говорить повсюду при Ельцине, путешествующий в прекрасном, зарубежные страны включая, книги, рукописи, картины, службы, дружбы, стихи, романы, жён, тусовки, мечты, Слава Лён.

Паладин? Аладдин? Насреддин?

Что вы, нет! Он такой – один.

Славен впрямь. Господин Епишин.

По учёной части, в советские времена, – кандидат наук, перспективных, геологических, – так его старый кореш, видный химик, доктор наук, автор сотен статей научных, сочиняющий и стихи, временами, под настроение, человек ироничный, спортивный, компанейский, любитель выпить, закрутить на досуге роман, погутарить, о том, о сём, с кем-нибудь из приятелей давних, человек достаточно трезвый, с головой уходящий в труды, о которых я, например, представление самое смутное до сих пор, к сожаленью, имею, но догадываюсь порой о серьёзности их, Володя Сергиенко, всегда утверждает, и ему, конечно, виднее.

Лён – псевдоним. А ля рюс.

Русский – дальше уж некуда.

Лён сплошной, куда ни взгляни, домотканные, значит, холсты, голубые в поле цветочки.

Господа каббалисты – есть на Руси они – утверждают – сам видел по телевизору, в девяностых, в грустную пору междувременья и расцвета сорняка словесного «как бы», одного, молодого весьма, разговорчивого каббалиста и слушал его откровения, – что, когда человек берёт себе псевдоним, то весь он меняется, и нередко – до неузнаваемости, и становится он тогда совершенно другим человеком.

Молодой каббалист рассказывал, что большевики российские это дело, с метаморфозами сплошь и рядом, очень любили.

Каббалистом главным годами работал у них Луначарский – вот он и выдумывал всякие нужные псевдонимы своим, далеко не всем, товарищам верным по партии, с каббалистическим, скрытым от посторонних глаз, но ясным для посвящённых, само собою, значением.

Очень даже возможно, что так всё в действительности и было.

Вот Лимонову псевдоним, заменив его заурядную фамилию, так себе, серенькую, украинскую, вроде, Савенко, на более звучное, с привкусом фруктово-тропическим, прозвище, вовсе не Луначарский, а художник-авангардист и король, даже за океаном, в Америке, чёрного юмора, не забывший о родине, Вагрич Бахчанян, давно, ещё в Харькове, придумал – и посмотрите, что в итоге из этого вышло.

Каббалистика всюду. Мистика.

Появление новых субъектов, или фруктов, скорее – бесов, без всякого там клонирования.

Господин Епишин, стихи сочиняющий на досуге, – тот себе псевдоним свой броский, для пленительной красоты и мгновенной запоминаемости, по простой, понятной причине, потому что, следует помнить, состоит его псевдоним всего-то из трёх, не тех, всем известных, заборных, ругательство короткое образующих, нет, ну что вы, других, даже с виду, полиричней, послаще, букв, сам себе, скорее всего, в шестидесятых, в бессонные, но плодотворные ночи, в поте лица, придумал.

И – стал другим человеком.

Не только поэтом, но и прозаиком, и драматургом.

А в суете, бестолковщине и бредятине междувременья – ещё и общественным деятелем, и помощником всяких нынешних, состоятельных и пробивных, людей, вроде Миши Шемякина или, как его там, Церетели, и даже, как утверждал он, советником президента Ельцина по вопросам не чего-нибудь, а культуры.

Всё вполне могло быть. Псевдоним!

Каббалистика, да и только!

Видел я, и читал, приходилось, всего-то навсего книжку, одну-единственную, изданную по случаю, собственную его, брошюрку, скромную, тощую, в тридцать две, со стихами, страницы.

«Я твой пупок целую изнутри...»

Шедевр этот всем в Москве был известен в прежние годы.

Венедикт Ерофеев, Веня, как обычно его называют и в столице, и за границей, и на Марсе, и на Луне, – тот однажды не поленился, тот в свою записную книжку нутрянную эту строку с удовольствием явным вписал, перед этим, в течение целого получаса, отхохотавшись как следует, от немало, запредельного изумления.

В смутные, дикие годы нашего междувременья слышал я иногда от Льна, – (по его убедительной просьбе, давней, следует всем согражданам, чужестранцам, гостям залётным из других миров, да и прочим существам, говорить: от Лёна), – слышал я от Епишина-Лёна, что создано им, представьте, за долгие годы работы, собрание сочинений, целых шестнадцать томов, – да вот ведь, гады какие, в журналах его романы почему-то всё не берут, не хотят их упорно печатать, и особенно, кстати, в «Знамени».

Через год непечатных томов было уже семнадцать, потом их стало уже восемнадцать, ну и так далее.

Так вот. Вернёмся, читатель мой, к нынешним академикам.

Пришёл я как-то на общее ПЕН-клубовское собрание.

И кого же там я увидел, прежде всех? Конечно же, Лёна.

В костюмчике, в галстучке-бабочке, с улыбочкой а ля рюс, псевдониму его соответствующей, стоял он у входа в зал с видом если и не хозяина, то по крайней мере солидного, полноправного члена общества.

Этак по-свойски. Запросто.

Хотя и не состоял в ПЕН-клубе. Но в этом ли дело!

Важно, что был он – здесь.

У Жени Рейна, поэта, весьма и весьма известного, лауреата множества премий литературных, исколесившего добрую половину земного шара, бывшего петербуржца, Дон-Жуана, светского, может быть, по советским былым временам с их мерками странными, льва, человека почти богемного, выпивохи, гуляки, лодыря, но практичного и трезвейшего, если дело требует этого, нынешнего москвича, преподавателя в горьковском, на бульваре Тверском расположенном, Литинституте, кузнице кадров литературных, то есть поэтов, прозаиков и ещё кого-то, возможно, критиков и драматургов, у Рейна, любимца публики, вальяжного и седого, в годах, многократно увенчанного лаврами, вроде бы свежими, пока ещё не засохшими, до поры до времени, видимо, поживём, увидим, как водится, у Рейна, ПЕН-клубовца знатного, знатока всего невозвратного, пробудилось тогда чувство юмора.

Послушав немного хваставшегося своими заслугами Лёна, вдруг подвёл он к нему, парящему на крылышках галстука-бабочки, над реальным и воображаемым, над ПЕН-клубовскими людьми, над Москвой, поэтессу Лиснянскую, известную, героическую, жену известного Липкина, героического поэта, маленькую, худую, опешившую от натиска здоровенного, шумного Рейна, (и всё это мне напомнило классическое умыкание, по восточному образцу), и представил её:

– Знакомьтесь!

С высоты своего немалого роста, дядя, достань воробышка, по дразнилке детской старинной, указал он куда-то вниз, на Лиснянскую, и, со значением, с пиететом, накрепко связанным с нужным пафосом, с уважением, с обожанием и симпатией, вперемешку, по-рейновски, запросто, с повелительной, властной ноткой, с умилением и почтением, всё смешалось в его словах, всё мгновенно переплелось, чтобы тут же перенести их на скрижали, чтоб сохранить для потомков, с призывной музыкой в каждой букве и в каждом слоге, в начертании их и звучании, громогласно изрёк:

– Лучший лирик!

Сделал паузу, в лучших традициях театральных, по Станиславскому, и дополнил свою чеканную, с трубным гласом, характеристику, по-суворовски лаконичную, грозным выкриком:

– Наших дней!

Лиснянская, титулом этим смущённая, но и польщённая, приветливо, снизу, глядя из-за Рейна, кивнула Лёну.

И тогда, воспарив напоследок на крылышках галстука-бабочки и решительно приземлившись, то есть на пол встав, на паркет, ногами обеими, твёрдо, как в мухинской, знаменитой скульптуре, стоит рабочий, без колхозницы, к сожалению, без молота и серпа, пропавших куда-то, незримых, допустим, подразумеваемых, как и многое в мире этом, удивительном, право слово, и загадочном, несомненно, для кого-то, по крайней мере, если всё-таки не для всех, Лён, отступив на шаг назад, встав эффектно, так, чтобы все ПЕН-клубовцы, оптом, лицезрели его и слышали, заложив руки за спину чинно, широко развернув, расправив, как на свадьбе мехи баяна расправляет хмельной баянист, грудь в проглаженной белой рубашечке, потряхивая игриво крылышками своей, приросшей к имиджу, бабочки, горделиво и высоко поднял голову, рот раскрыл – и начал, отчётливо, громко, по-научному скрупулёзно и точно, перечислять свои титулы и регалии:

– Академик такой-то российской Академии... академик этакой Академии... академик такой Академии... академик вот ведь какой Академии... академик ещё и такой Академии... академик, прошу заметить, ещё и такой Академии... академик, между прочим, и вот какой Академии... академик, да-с, прямо скажем, и этой вот Академии... академик, ну да, воленноленс, и той ещё Академии... академик вот той Академии... академик той самой, кстати, Академии... академик новой нынешней Академии... академик уже новейшей Академии...

академик самой лучшей, наиновойшей, супер, гипер, сюр, Академии... профессор такой-то... профессор этакий и разэтакий... профессор вот ведь какой... профессор ещё и такой... лауреат, как видите, премии литературной такой-то... лауреат престижной премии этакой... автор термина "Бронзовый век"... руководитель бессменный проекта международного такого-то... руководитель проекта общероссийского такого-то... и других проектов руководитель... заслуженный деятель, дамы и господа, такой-то... основатель литературного направления, (знайте об этом, современники и потомки, знайте все и повсюду), СМОГ и бессменный лидер его... создатель литературного направления, после смогизма с изумизмом, после всего, что за ними было, такого-то... автор двадцатитомного собрания сочинений, в котором имеются, знайте об этом, помните днём и ночью, издатели и читатели, романы, пьесы, стихи, статьи и произведения прочих, разнообразных, на выбор, видов и жанров... руководитель того-то... куратор суровый этого-то... президентский советник... личный, полноправный, с большими возможностями и огромными полномочиями, представитель надёжный того-то... основатель журнала такого-то... вдохновитель идейный движения общественного такого-то...

Велик и безбрежен был его послужной список.

И долго ещё он что-то дотошно перечислял.

Потрясённая всем услышанным крохотная Лиснянская, побледневшая, обессиленная, сползала медленно на пол.

Что там её, казавшийся, только что, громким, титул, на ходу, из симпатии к даме, изобретённый Рейном, что там всё её скромное творчество, поэтическое, прозаическое, – перед таким вот, из Рабле, не иначе, из Свифта, роскошеством!

Рейн успел подхватить её, словно куклу, в процессе падения на пол, вернуть из обморока и поставить бережно на ноги.

Но стояла она неуверенно и всё время слегка пошатывалась.

Вокруг нас густой толпой давно уже собрались, вытаращив глаза, от великого изумления, и раскрыв поневоле рты, многочисленные, разновозрастные, разномастные члены ПЕН-клуба, которые ничего подобного сроду не слышали, радуясь, очевидно, что выпала им на долю, наконец-то, редчайшая, видимо, такая вот, чисто случайная, но счастливейшая возможность – лицезреть и слушать почтительно, перед общим собранием, всё-таки рядовым, скучноватым, такого выдающегося человека.

А Лён, то ли в раж вошедший, то ли, может, впавший в психоз, распалившись, всё говорил, всё перечислял свои титулы.

И склонили тогда многочисленные, разновозрастные, разномастные ПЕН-клубовцы, молча склонили свои многотумные, лысые, седые, увы, в основном, но изредка без седины и без лысины, всем заметной, хотя и с явной возможностью, с перспективой, вполне понятной, на обретение скорое таковых, в недалёком грядущем, писательские, боевые, удалые, шестидесятилетние, лихие, властительскодумские в прошлом, когда-то, головы, склонили их перед величием такого вот, в галстук-бабочке, в костюмчике чистеньком, глаженном, с улыбочкой а ля рюс, потрясшего их своей речью, похожей отчасти на проповедь, особенного, видать, по Ницше, со сверхчеловеческими возможностями, горделиво стоящего перед ними, о заслугах своих им поведавшего перед всем человечеством, скромного, с псевдонимом льянным, человека.

И гурьбою пошли они в зал, на собрание общее, клубное, и долго ещё потом покачивали головами, вспоминая недавно услышанное, а некоторые из них, чтоб ничего, ни буквы, не забыть из слов академика, быстренько заносили в блокноты свои и в книжки записные, кто уж куда, золотые эти слова, надеясь, видимо, втайне, обнародовав их, когда-нибудь, потихоньку, при случае, в будущем, сделать их достоянием масс.

И долго ещё молва о Лёне жила в ПЕН-клубе. А может быть, и теперь живёт. Секретарши – знают. У них и спросите, если это вас интересует.

Что же Лён? Да так, ничего.
Подвизается где-то, видимо.
Ходит-бродит, по всей Москве.
За её пределами – тоже.
Гражданин, а чего – неизвестно.
Семьянин ли? Да кто его знает!
Господин Владислав Епишин.
В просторечии – Слава Лён.
То в костюмчике он, милашка.
То в рубашечке, нараспашку.
Допускает порой промашку.
Превращается в страшный сон.

Устроили как-то, помню, ещё в девяностых годах, в Георгиевском переулке, в клубе, тогда известном всем в Москве, у Татьяны Михайловской, довольно скромный, без шумихи, но – вечер СМОГа.

Пригласили меня туда – почитать стихи, пообщаться, в обстановке приятной, с людьми.
Пригласили и кое-кого из других, кто придёт, смогистов.
Дело нужное, вроде, собрался.
Дотащился туда, с трудом.
Как всегда, на метро и пешком.
Захожу, минута в минуту, – а там уже Лён сидит.
За столом. На центральном месте.
Перед ним – стопа здоровенная бумаги. Стихи его. Разные. Приготовленные для прочте-

ния.

Сидит себе. В галстук-бабочке.

Ни меня, ни прочих смогистов – не видит в упор и не слышит.

И когда он дорвался до чтения, то раскрыл свой сморщенный рот и читал, читал свои опусы, покуда всю эту стопу бумаги не перечитал.

Вот ведь как человеку надо показать порою себя.

И товар свой лицом показать.

Если надо – влезет, без спросу, без раздумий, куда угодно.

Лишь бы где-нибудь засветиться.

Лишь бы на людях побывать.

Как его поточнее назвать?

Ни хрена ему не добиться.

Никогда. Ни за что. Никак.

Есть на нём – проставленный знак.

Есть на нём – невидимый крест.

Есть при нём – беспомощный жест.

Нету в нём – таланта. Увы.

Он – «сокровище» для Москвы?

Уж не знаю. Мне его – жаль.

Пишет, всё-таки. Вот печаль!..

Дышит, всё-таки. Пусть живёт.

Пусть, кем хочет, тем и слывёт.

И опять я его, в костюмчике аккуратненьком, в галстучке-бабочке, советника президентского, помощника черетелевского, представителя, основателя, профессора, академика, вдохновителя, учредителя, какое-то время не видел.

В прошлом году звонит мне мой друг Аркадий Агапкин. Говорит: Лён где-то устраивает, самолично, самостоятельно, беспардонно, самонадеянно и цинично, само собой, но ещё и глупейшим образом, потому что кто он такой, чтоб решать ему что-то за нас, кто он есть, академик липовый, борзописец хренов, при бабочке и в костюмчике, вечер СМОГа – и его зовёт, почитать.

А вот меня-то, Алейникова, сказал мне Аркадий с грустью, Лён и не думает звать.

Потому что, как он, профессор лжи и наглости, утверждает, в СМОГе меня, Алейникова, не было вообще.

Был – только он, Лён. Он – главный смогист. Он – всё.

Для СМОГа. Для литературы. И даже для президента. Не говоря уж о всяких Шемякиных и Черетели.

Он – всё. Для всех академий. Для всех вечеров и чтений публичных. И в СМОГе он – всё. Сам он – и есть СМОГ.

Вот ведь как в жизни бывает!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.